

УРАЛЬСКИЙ

Следопыт

2 '87

Главные рубрики журнала:

Люди подвига

Следопытский телеграф

Страницы прозы и поэзии

Адреса романтики

Человек и природа

Путешествия и экспедиции

Музеи, коллекции

Краеведческая копилка

Приключения и фантастика





Фото из серии
«БРАТЯ НАШИ МЕНЬШИЕ»

ВОСЬМИКЛАССНИКИ

На слете юных фотолюбителей Олег Мурашко, восьмиклассник свердловской школы № 152, получил диплом второй степени, но... остался недоволен. Его расстроило то, что выставка работ на слете по каким-то причинам не состоялась. И он сказал твердо: сделает свою выставку, персональную.

Действительно, через несколько месяцев в выставочном зале Дома культуры имени Я. М. Свердлова он представил на суд зрителей 80 снимков.

Один из профессиональных фотокорреспондентов назвал сам факт этой выставки исключительным явлением: мол, больно молод автор, всего 16 лет... Тем не менее способностей у автора не отнимешь.

До фотодола Олег увлекался аккордеоном, стихами, занимался на станции юных натуралистов и даже... боксом. В межклассных политбоях он — капитан команды.

А фотографический стаж у него — около года: был в Артеке, брал с собой «Смену», но фотоснимки не получились. Решил подучиться в фотостудии Дома пионеров. И добился своего — той же «Сменой».

Е. БИРЮКОВ

Представляем снимки ОЛЕГА МУРАШКО из серии «ХРОНИКА 8 «Б».



УРАЛЬСКИЙ

СЛЕДОПЫТ



2 '87

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

В НОМЕРЕ:

- 2/ В. Станцев
ВЕНОК СОНЕТОВ
- 7/ В. Миролевич
ДОРОГА НА ЯМБУРГ
- 13/ С. Ломакин
ХРОНИКА ОДНОГО ПОСТУПКА
- 15/ Е. Богданов
СКАЗ О СЕМИ ИСПЫТАНИЯХ
- 19/ И. Новожилов
...А Я СЛЫШУ ОТГОЛОСКИ БОЯ
- 22/ А. Дьяков, В. Смирнов, В. Халтурин
ЧУВИЛЬСКИЕ ПЛЕСЫ НА ВОЛГЕ
- 25/ М. Пинаева
ПРИ-ВОЛЬНЫЕ ПЕСНИ
- 31/ В. Проскурин
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ
- 33/ В. Жилин
ДЕНЬ СВЕРШЕНИЙ. Повесть. Начало
- 54/ В. Васильев
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФАМИЛИИ
- 55/ В. Сазанович
МЯТЕЖНИК
- 56/ В. Аринин
ИЗ СТАРИННОГО РОДА...
- 57/ А. Леонидов
ТРАЕКТОРИЯ. Повесть. Окончание
- 73/ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
- 74/ В. Миронов
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА. ФЕВРАЛЬ
- 77/ МИР НА ЛАДОНИ

На 1-й стр. обложки рисунок Евгения Охотникова

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

© «Уральский следопыт», 1987 г.



Венедикт
СТАНЦЕВ

ВЕЩОК

1.

МОИМ ДВОЮРОДНЫМ БРАТЬЯМ
АЛЕКСАНДРУ, ВЛАДИМИРУ, ПЕТРУ
И СЕРГЕЮ МИТРОФАНОВЫМ

Для войны солдат не нарожаешь,
остер ее кровопролитный меч...
Горюет мать: «В какую землю лечь
им довелось? Дай бог, чтоб не чужая...»
У крыльца грустит сирень живая,
рассыпав кудри алые до плеч:
все вспоминает радость давних встреч,
напрасно новой встречи ожидая.



Молчат осиротевшие поля,
лишь голоса грачи на тополях.
Мать целый день у светлого окна,
но травой от самого порога
заросла весенняя дорога:
я знаю, как прожорлива война.

2.

ОДНОПОЛЧАНИНУ АЛЕКСАНДРУ ЗИМАКОВУ

Я знаю, как прожорлива война.
И теперь в глазах моих пехота
наступает в лоб на пулеметы —
на славу горькую обречена.



Не видно у могилы братской дна,
и легли в нее четыре роты...
Израненный, надеялся еще ты:
отступит смерть, вдруг пощадит она...

В могиле той тебе лишь двадцать лет,
тебя мы звали гордо: наш Поэт.
Но ты зарыт. Смерть, как и жизнь, одна...

Пусть пушки захлебнутся навсегда,
пусть светится поэзии звезда,
пусть оглушает громом нас весна.

3.

ДРУГУ ДЕТСТВА ЕВГЕНИЮ МАТВЕЕВУ

Пусть оглушает громом нас весна;
как и ты, такой же желторотый,
одуванчик в амбразуре дзота
ребячился, очнувшийся от сна:
как хороша родная сторона!
Детская жила в тебе забота:
только бы при ярком артналете
его не сбила дымная волна.

Ты был еще совсем наивный мальчик;
словно факел бился одуванчик,
в бой тебя последний провожая.

СОНЕТОВ

Рисунки
Александра Банных

В степи безлюдной похоронен ты,
а лето одевается в цветы,
атакует осень урожаем.



4.

ОДНОПОЛЧАНИНУ ФЕДОРУ САДОВНИКОВУ

Атакует осень урожаем,
но это там, в заманчивом тылу,
а здесь поля изрытые в дыму
и блиндажи, что кажутся нам раем...
Летела песня над передним краем
сквозь полыхающую кутерьму,
мы слушали, забыв про тьму,
крылья для атаки обретая.



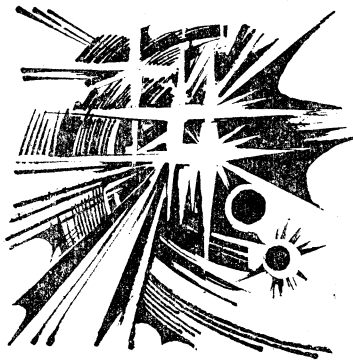
Я смотрю в мерцающий зенит,
твой вечный голос где-то там звенит,
русские напевы повторяя...

На подвиг песня нас всегда звала,
мы с ней творим бессмертные дела,
завтрашние дни опережая.

5.

ОДНОПОЛЧАНИНУ КОМИССАРУ ПАВЛУ КОТОВУ

Завтрашние дни опережая,
ищем братьев по другим мирам:
живет планета, может, где-то там,
где никто войной не угрожает...
У тебя была мечта большая,
о ней не раз рассказывал ты нам,—
прикоснуться к звездным берегам,
к мирозданию — без конца и края.



По-комиссарски видя дальше нас,
ты нам предсказывал Победы час,
но за нее не выпил ты вина.

Проходя траншеей перед боем,
улыбался ты: «Салют героям,
любовью нашей Родина сильна!»

6.

ОДНОПОЛЧАНИНУ НИКОЛАЮ МЕЛЬНИКОВУ

Любовью нашей Родина сильна,
за ее растоптанное счастье
воевать ушел ты в одночасье,
звезда в траву упала зелена.
Ты смахивал скорей на пацана,
чем на ратника гвардейской части.
На ладожской морозной трассе
взяла тебя подледная волна.



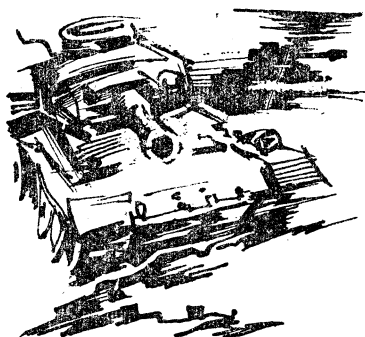
Ты был силен влюбленностью своей
в густую ширь натруженных полей,
что солнцем щедрым вся напоена.

Взывают матери, поля и травы:
чем хоронить сынов в боях кровавых,
пусть будет похоронена война.

7.

ДРУГУ ЮНОСТИ ВИКТОРУ ТАМОХИНУ

Пусть будет похоронена война,
соловьи щебечут, а не пули...
Ты ушел в расстрелянном июле
от загроутованного полотна.



Известно, на миру и смерть красна,
то — на миру, а в снарядном гуле,
когда пусто в опаленном дуле,
и ты один, как на юру сосна.

Лежишь и стонешь на седом ветру
и, будто засыпая поутру,
ты глаза спокойно закрываешь.

На могиле памятник гранитный,
у войны характер ненасытный,
для нее солдат не нарожаешь.

8.

ОДНОПОЛЧАНИНУ ПЕТРУ КАРЕЛИНУ

Для нее солдат не нарожаешь,—
с войною у тебя особый счет;
ты грудью лег на вражий пулемет,
руки к сердцу с болью прижимая.
А весна, свой вечный круг свершая,
крушит опять на реках синий лед.
Со знаменем победным май встает,
улыбаясь, ты под ним шагаешь.



Уверен: подвиг твой от доброты —
других спасая, отдал юность ты,
чтоб Родина вовек была жива.

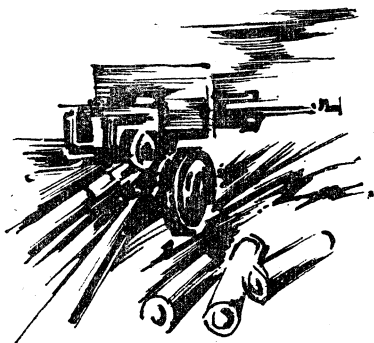
Лежит нас много в огненной золе,
но все еще на раненой земле
мир сотрясают грозные слова.

9.

ОДНОПОЛЧАНИНУ ИВАНУ ТКАЧЕНКО

Мир сотрясают грозные слова,
больно сердцу за детей и внуков:
вдруг оплавится оно разлукой,—

земля без них, как дом пустой, мертва...
Колокольня... Тучек острова...
Ты лежишь на ней в предсмертной муке.
Рвался дым в распахнутые люки —
горели «тигры», как в степи трава.



На себя ты вызвал град снарядный...
Где-то плачет девушка надсадно —
была невеста, а теперь вдова.

Смерть твоя, овеянная славой,
в мой сонет легла строкой кровавой...
А жизнь ликует, жизнь всегда права,

10.

ЗЕМЛЯЧКЕ АНТОНИНЕ МЕНЬШЕНИНОЙ

А жизнь ликует, жизнь всегда права,
у нее счастливые законы,
ласковые детские ладони,
девичьих глаз морская синева.
На все материки зовет Москва:
в угол войны звездные загоним,
атомные бомбы похороним
по правилам всемирного родства...



На прицеле снайперском алела
кровь твоя... А солнце в небе белом
так светило, как и нынче светит.

И дети, не рожденные тобой,
к тебе являлись зорькой голубой,
по-ребячьи не приемля смерти.

11.

ОДНОПОЛЧАНИНУ ЛЕОНИДУ РУДАКОВУ

По-ребячьи не приемля смерти,
мы с ней столкнулись в тяжкие года,
мы о себе не думали тогда, —
я и ты — крутого века дети.
Плавятся смоленские рассветы,
столбом стоит днепровская вода,
о, сколько в ней затихло навсегда
рядовых предвестников Победы!



В бой пошла последняя граната.
Где ж ребята? — Вот они — ребята,
все рухнули под солнцем в темноту...

Плен? Ну, нет, не торжествуйте, немцы!
Ты штыком пронзаешь свое сердце —
за жизнь, ее святую правоту.

12.

ДРУГУ ЮНОСТИ НИКОЛАЮ ДАВЫДОВУ

За жизнь, ее святую правоту
мы в бою — пока нельзя иначе...
А ночами матери все плачут,
куда им деть тоску и маяту?
Они одну лишь пестуют мечту:
вдруг придет... Но путь, увы, утрачен,
материнский долг уже оплачен...
Как хороши вы, яблони в цвету.



Ты вернулся матери в объятия,
но война нашла тебя в палате,
где умер ты от ран в глухом бреду...

Чтоб войны вовек не знали дети,
не рыдали мамы в целом свете,
я на любую жертвенность пойду.

13.

ДРУГУ ЮНОСТИ ВАСИЛИЮ КРИВЧИКОВУ

Я на любую жертвенность пойду,
чтоб на мир сзывали барабаны:
лейся, солнце, в хрупкие тюльпаны,
варите, жены, брагу на меду...
У всех девчонок был ты на виду,
жил в семье у нас, как брат названный...
Где, не знаю, пал ты безмянным,
я никогда то место не найду.



Твой обелиск — литая крепость Брест,
как далеко тебе до отчих мест,
где все плачет стареющая верба.

Почти один держал ты долгий бой
и, как герой, пожертвовал собой,—
выше жертвы нет, чем жизнью жертва.

14.

ЗЕМЛЯКАМ БРАТЬЯМ ЛОГАЧЕВЫМ — ВАСИЛИЮ,
АЛЕКСАНДРУ, КОНСТАНТИНУ, ИВАНУ, ФЕДОРУ

Выше жертвы нет, чем жизнью жертва,
всех тех, кто лег на донышко земли,
всех тех, которые с войны пришли,—
как и солнце, слава их бессмертна.
Их убивали огненные жерла,
давили танки, в Бухенвальде жгли,
но в битвах они все превозмогли,—
сталью рождены они, наверно.
И вас — мои родные земляки,
как братьев, я вставляю в боль строки,
честь и славу вашу утверждая.

И еще, пройдя с войной полсвета,
утверждаю я венком сонетов:
для войны солдат не нарожаешь.



15.

ВСЕМ 20 МИЛЛИОНАМ

Для войны солдат не нарожаешь:
я знаю, как прожорлива война...
Пусть оглушает громом нас весна,
атакует осень урожаем.
Завтрашние дни опережая,
любовью наша Родина сильна.
Пусть будет похоронена война:
для нее солдат не нарожаешь.

Мир сотрясают грозные слова,
а жизнь ликует, жизнь всегда права,
по-ребячьи не приемля смерти.

За жизнь, ее святую правоту
я на любую жертвенность пойду,—
выше жертвы нет, чем жизнью жертва.

Из газовой кладовой Ямбургского месторождения будет получен весь прирост голубого топлива в двенадцатой пятилетке. Задача очень сложная: месторождение целиком расположено за Полярным кругом. До недавнего времени здесь не было ни крупных поселений, ни автомобильных дорог; летом штормы на коварной Обской губе перекрывают доступ судам к побережью, сильные ветры не стихают и зимой, в одночасье заметая след прошедшего в тундре вездехода...

Но люди уже пришли на северо-запад Тазовского полуострова. В устье тундровой речки возник большой порт. Проложено около сорока километров бетонных дорог, связавших порт с будущим промыслом. От Уренгоя к Ямбургу устремилась железная дорога, пока самая северная в нашей стране. Сварен последний стык на заполярном участке газопровода Ямбург—Елец-1, всего же до конца десятилетия будет сооружено шесть газовых магистралей, одна из которых подаст топливо в братские страны. На побережье появился вахтовый посе-

лок, где живут около 5000 человек—на Всесоюзную стройку приехали бойцы ударных отрядов имени 40-летия Победы, «Стахановец», имени XXVII съезда партии. А всего Главямбургнефтегазстрой примет нынче более двух тысяч добровольцев в составе отрядов и столько же—по другим формам общественного призыва. Им предстоит завершить строительство первого газового промысла, они продолжат дело пионерного десанта, осуществленного на Ямбургское газоконденсатное месторождение в январе 1982 года. Тогда отряд первопроходцев производственного объединения Надымгазпром санным поездом доставил к устью малоизвестной речки Нюдя Монго-тоепока все необходимое, чтобы закрепиться и приступить к освоению природной кладовой.

О том, как проходил этот первый в истории тюменских газодобытчиков заполярный переход, положивший начало сегодняшнему развороту дел на Ямбурге, рассказывают путевые заметки участника десанта журналиста Валерия Миролевича.

ДОРОГА НА ЯМБУРГ

Валерий
МИРОЛЕВИЧ

Рисунки
Евгения Охотникова



Адам проявляет характер

Солнце выглянуло в двенадцатом часу дня, покатилося по краю неба, красное и не греющее, и вскоре тихо утонуло в разноцветье слоистых облаков. До самой почти виднелись позади огни девятого промысла. И тут неожиданно для всех догнал колонну «Кировец» Адама Филимончука...

Отсутствие Филимончука обнаружили вчера вечером, когда собрались в красном уголке девятого промысла впервые разом посмотреть друг на друга. Основная тягловая сила—водители и трактористы—были из Пангодинского автотранспортного предприятия. Сорок человек—по числу единиц техники. Хорошо знакомые меж собой, они бойко включились в разговор о готовности санного поезда.

Энергетики, газодобытчики, радисты, повара помалкивали. Они, собственно говоря, и есть десант. Техника уйдет, а им обживать Ямбург. Но сегодня они—пассажиры.

И вот тут выяснилось, что у Адама Филимончука—авария: лопнуло колесо. Запасного в АТП не было, а значит, Адам выбывал из похода. Узнав об этом, трактористы закумежи. Тракторов было в обрез—по количеству саней. Да и старая техника—лет пять не обновлялась; а тягач Николая Филоненко, латаный-перелатанный, служит на Медвежьем с 1973 года... Правда, здесь, в колонне, я слышал, его считают главной силой. Но больше, наверное, из-за мастерства тракториста.

— Без резервной тяги технику порвем... И все равно что-нибудь в пути бросим. Лучше уж на берегу договариваться...—высказал общее мнение тракторист Сергей Берченко.

Может, действительно что-нибудь оставить? Перебрали все санные прицепы—нет, ничего не получалось. На Ямбург намечено завезти самый минимум, гарантирующий работу и жизнь на первое время.

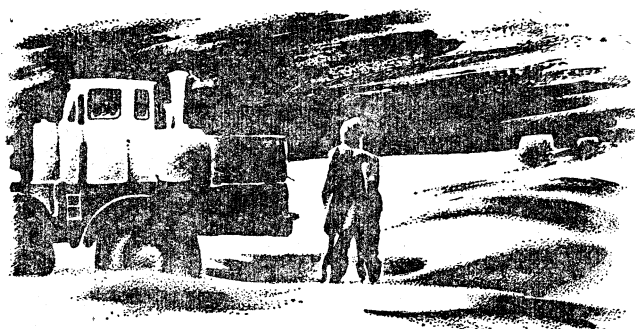
Значит, надо брать резервный трактор. Но где? Выход нашелся довольно легко. На девятом промысле работал бульдозер Александра Шилова. Сам Шилов случайно оказался здесь же, в красном уголке, он сказал, что у него к походу все готово. Случайно это было или нет—кто его знает. Но завтра решили выходить.

Выход наместили обставить поторжественней: митинг провести во дворе промысла. Все-таки первый десант в Заполярье—событие! Но с митингом ничего не получилось. Утром термометр показывал сорок три... Собрались на пятиминутку в том же красном уголке. Алексей Алексеевич Хоруженко, секретарь парткома Надымгазпрома, пожелал выдержки, мужества и вручил испеченный ночью огромный, в несколько килограммов, каравай хлеба с размашистой надписью: «Доброго пути!» Решено: каравай отведаем в Ямбурге.

А все то время, пока в красном уголке девятого промысла гадали, чем заменить «Кировец», и намечали торжественный митинг, Филимончук, на которого, получается, уже махнули рукой, боролся за свое законное право быть в десанте.

Адам работает на Ямале уже десять лет. Но с первым десантом ни на одно месторождение ему пойти не удалось. Когда отбирали добровольцев на Ямбург, он решил, что теперь уж случая не упустит. И когда на пути из Пангод лопнуло колесо—поверите ли, слезы навернулись... И товарищей подвел, и сам опять без «своего» месторождения остался!

— Не-ет, так просто не сдамся!—решил Филимончук. На попутке он добрался до Ныдинского водозабора



и начал многочасовые переговоры с начальником строительного участка. Там летом работал «Кировец» строителей и, по слухам, оставил запаску.

Начальник участка сдался к двенадцати ночи, дав колесо взаимы. Прощаясь, так объяснил свою несговорчивость: «Я бы раньше его отдал. Но у нас тут телевидения нет... Сам понимаешь, тоска. А тут, слава богу, ты с колесом. Очень уж красиво выпрашивал...»

До Филлимончука смысл сказанного дошел на радостях не сразу. А когда дошел, возвращаться с крепким словом было поздно, — подвезжал к накренившемуся на обочине своему «Кировцу». В одиночку, на сорокаградусном морозе за оставшиеся часть ночи и полдня Адам отремонтировал обезножившую машину. Санний поезд уже несколько часов был в пути. «Пожалуй, догоню...» — прикинул он.

И на максимальной скорости поехал по бетонке на север, думая только об одном, чтобы не встретилось возвращающееся с проводов начальство и не тормознуло его. Думая об этом, он незаметно проскокил вручивший его и сильно обидевший Ныдинский водозабор. За девятым промыслом увидел медленные огни нашей колонны.

...За пять часов прошли всего тринадцать километров. Эта санная скорость раздражала. Во время остановок спрыгнешь на асфальтоподобный наст размять ноги, оглянешься, а промысел все еще рядом... И такое нехорошее ощущение, будто не вперед идем, а хоровод вокруг девятого водим.

Никто, даже самые опытные, не мог сказать, сколько времени будем добираться до Ямбурга: три дня или пятнадцать. В семьдесят четвертом году первый десант от Пангод на Уренгой пробивался тринадцать суток. А тут расстояние почти вдвое больше. Поэтому возьмем много горючего и масла; надежный запас — это работающие моторы...

С приходом «Кировца» запас надежности у санного поезда увеличился. Заметно повеселел Станислав Петрович Суптеля, начальник пангодинского гаража, ответственный за технику в этом походе. В пути — всего ничего, а уже пришлось заниматься мелким ремонтом. Металл на морозе становится хрупким: уже несколько раз подваривали дышла у саней.

— Полоса везения началась, — убеждал меня Адам, гарцуя на своем «Кировце» вдоль колонны. У его мощного зарезервированного «скакуна» была сейчас одна работа — помогать на крутых склонах буксующим тракторам. А бывший резервный трактор Шилова подцепили на подмогу полуболожник Филоненко — «сотку» теперь тянули двойной тягой.

Из высокой кабины «Кировца», как со второго этажа, санний поезд просматривался весь разом: от станции «сотки» с красным флагом над крышей до ремонтной летучки — в ней замыкал колонну Суптеля.

Адам, окончательно поверив в свое везенье, говорил мне о том, что в жизни каждого человека должно быть свое месторождение. Его нужно найти или дойти до него нужно, и в судьбе наступят перемены. А то десять лет елозил по Медвежьему... Сейчас, чуёт, на простор вышел.

(Может быть, действительно вера в «свое» месторождение сказывалась. После той ябургской зимы Филлимончук вступил в члены КПСС, а за успехи в труде был награжден медалью ВДНХ.)

В восемь вечера круто повернули на север. Поворачивали у вешки с табличкой, на которой рукой нашего проводника — начальника топографической партии Анатолия Николаевича Богданова — было размашисто написано: «На Ябург! Осталось 176 км».

От вешки начался спуск в пойму реки Верхняя Хадьта. Снегу здесь намело много, и скорость резко упала. Заметил по спидометру: за три часа прошли три с половиной километра... Мороз усилился, и, несмотря на него, подул ветер. В три часа ночи движение прекратили. Пронеслось по колонне: «Спать, спать, спать...» Колонна растянулась километра на полтора, со стороны — целый поселок огней.

Швец предсказал на завтра пургу. Он предложил двигаться всю ночь без остановки, чтобы выбраться до пурги на лед Обской губы. Но Швецу не верят: мороз жмет, небо звездное, какая еще пурга...

Пурга

В седьмом часу утра нас разбудил резкий стук.

— Все нормально? — ворвался в кабину бодрый голос С. П. Суптели.

Все было нормально, если не считать, что предсказание Швеца сбылось. Вышел я из кабины умыться, но даже нагибаться не пришлось к сугробу: в секунду лицо забито жестким, перемерзшим снегом. Круговерть такая, что не только огней колонны не видно — свою бы машину не потерять.

Колонна подтянулась. Дистанция — два метра. До рассвета сумели пройти с километр, и это было неплохо. Но когда рассвело, фары уже не могли пробить сплошную белую тьму. Шоферы, теряя ориентировку, оставливали машины. Владимир Пушкарев, водитель бензовоза, выскакивал из машины кабины и тут же исчезал в бурани. Через минуту он залезал обратно, похожий на мучной мешок, и оттаивал. Мы двигались еще десяток метров и упирались в чей-нибудь борт. Головная машина потеряла тракторную колею, «Уралы» взяли в глубоком сыпучем снегу. Какое там движение вперед... Выдернуть бы из сугробов забуксовавшие машины да без потерь переждать пургу...



Неожиданно, как призрак, вырос перед машиной Сунтеля. Махнул: давай за мной! И пошел впереди на какой-то ему одному известный ориентир. Метров через пятнадцать мы уперлись в борт водовозки. Сунтеля жестом показал: стоять здесь! Вдохнул облегченно Пущкарев. Я приоткрыл дверцу и тут же забыл, о чем хотел спросить Сунтеля. Порыв ветра ударил в дверцу, как в парус. Мгновенно метнулся от руля Володя, уцепился за какую-то ручку и вдвоем мы с трудом захлопнули «парус». Успели лишь заметить, как Сунтеля, соскребая со щетины намерзший лед, шагнул в сторону и исчез в пурге.

Сквозь ветровое стекло вот уже несколько часов виднелось одно и то же: обросшая сосульками задняя часть водовозки. Чтобы как-то разнообразить пейзаж, я выскрабливал ногтем, вытаивал дыханием пятячок стекла у боковой форточки, в этот глазок был виден проход между нашим бензовозом и «Уралом» Саши Березовского. В его кабине горел свет. Саша ехал без пассажира и боялся, что ночью заглохнет двигатель. К нему в кабину набились водители, и от их дыхания впервые за двое суток начали оттаивать заледеневшие стекла.

Хотелось пить... Раньше я смотрел на водовозку, полную чистой воды, и сознание ее доступности вместе с ленью, которая не позволяла вылезти из кабины, утоляли жажду. А тут к водовозке стали подходить наши десантники с кружками и фляжками и уходили ни с чем. Перемерз кран. Да и сама водовозка уже была бочка льда. И, странное дело, как только до сознания дошло, что вода стала дефицитом, в горле тут же пересохло, сухой язык рашишлем царапал по нёбу... Теперь мы думали только о воде.

Я заставил себя вылезти из кабины, набил кружку снегом. Обратил забрался быстро, забыл отряхнуть снег с унтов — эта забывчивость и выручила. На ноги дул теплый воздух от мотора, и снег быстро таял. Я поставил туда кружку и вскоре получил неплохой глоток воды.

Мало кто успел вздремнуть в эту ночь. К четырем утра пурга начала стихать. Не веря в продолжительность затишья, мы решили тотчас же пробиваться к Обской губе. Тягач снова выдергивал машины из наметенных сугробов. Колонна обрела походную стройность. И... начался третий день пути.

Чай на фактории

С выходом на Обскую губу мы связывали большие надежды. Как-никак это была хоть ледовая, но дорога. Во-первых, нет оврагов, не надо опасаться болот, во-вторых — мало снега, в-третьих — до Ямбурга оставалось всего сто пятьдесят километров. Правда, это и не шоссе. Торосы, трещины, воздушные подушки подо льдом...

Всем обозом вышли на лед в восемь утра и сделали остановку для осмотра техники. Выяснились некоторые подробности вчерашнего дня. Оказывается, пурга растянула колонну на пять километров. Трактористы заночевали совсем близко от берега. А Николай Филоненко с электростанцией умудрился даже проскочить покрытую густым кустарником надпойменную террасу и выйти на губу.

А неприятности вчерашние состояли еще в том, что сломались одна машина и бульдозер Александра Шилова и обморозил лицо Сунтеля. В вагончике электростанции возле него хлопотал фельдшер, старательно накладывая на припухшие щеки мазь, а наблюдавших за этой процедурой водителей авторитетно заверял: «Будет жить!» Крупный Сунтеля, даже сидя возвышаясь



над маленьким полным медиком, выглядел во сто крат здоровее его, и веселый хохот разносился над Обской губой.

Сунтеля был хорошим начальником гаража, и именно поэтому ему предложили пойти в этот поход. Когда при появлении руководителя у подчиненных поднимается настроение и лучше ладятся дела, значит, им повезло с начальником. Я не знаю, как бы Станислав Петрович управлялся с каким-нибудь крупным подразделением, но здесь он вел себя точно. Как в альпинистской связке, он впрягся в упряжку лидера и мало говорил, больше показывал: «Делай, как я!» И далеко не отборный коллектив, не ведающий психологических тонкостей совместимости, шел к Ямбургу как одно целое.

(Он довел до Ямбурга еще два санных поезда. О следующем, четвертом по счету, переходе он уже слушал веселое вранье посещавших его в больнице ребят и удивлялся яблокам и апельсинам, достать которые в мае на севере — подвиг. У Станислава Петровича, оказывается, было очень больное сердце... Его похоронили в конце июня, когда вокруг Пангод зазеленели лиственницы, а заполярный зимник облизывала волнами и уносила прочь от берега Обская губа.)

Топографы замерили толщину льда. Семьдесят сантиметров — выдержит! Но время от времени раздавались выстрелы: это рождались трещины. Богданов показывал всем формулу, по которой рассчитывал удельную грузоподъемность льда. В формулу никто не верил: как назло, «стрельба» участилась. Поверили Швецу: он сказал — в такие морозы это нормальное явление, ничего страшного.

Пока ремонтировали машину, к колонне подсел вертолет. Он привез из Пангод горячий обед. Горячий обед входил в ассортиментный минимум забот о санном поезде — все-таки восьмидесятые годы! С вертолетом передали заказ на запчасти для бульдозера Александра Шилова.

На редкость хорошо складывался весь этот день. Топографы без задержек вели колонну между торосами. К десяти вечера прошли столько же, сколько за два предыдущих дня. Казалось бы, пора остановиться на отдых. Но впереди, в четырнадцать километрах, была фактория Сядэй Харвут, и мы решили добраться до нее.

Двадцать второй час мы были «в седле» и, честно говоря, фактория сейчас нас интересовала только как рубеж, как километровый столб. Сказалось необъяснимое стремление к круглым цифрам: от фактории до Ямбурга оставалось ровно сто километров.

Мы прошли мимо нее метров на триста и встали под прикрытием высокого берега. Дальше, казалось, все будет просто: засуну руки поглубже в карманы, спрячу нос в воротник и вот так, нахохлившись, постараюсь

побystрее уснуть, пока высасывающий тепло холодок не превратит сон в медленную дрему. Но Пушкарев не спешил останавливаться. Он развернул «Урал» носом к губе и, сдавая назад, попытался прижать машину вплотную к отвесному обрыву. Здесь ветер почти не ощущался. Точно так же, в один ряд с нами, пристроились и остальные машины. А трактористы, отцепив сани, вогнали свои тягачи моторами в сугробы почти по самые стекла. Снег — хороший изолятор, и моторы будут гнать в кабины теплый воздух.

Пока «укладывалась» спать техника, машинисты электростанции «шестидесятки» запустили дизель, дали свет в один из вагончиков и разогрели пропановую горелку. Застывший вагончик начал быстро оттаивать. Отпотели стены, крупные капли воды падали с потолка и тут же замерзали на полу.

В вагончик собрались «пассажиры». Решили спать на полу, подстелив под спальные мешки два слоя досок. Температура, естественно, будет почти уличная — пропановую горелку оставляют на ночь нельзя. Но илти в кабины было совестно: две ночи уже водители спали сидя. А одному можно и на сиденье прилечь...

На огонек и внеурочный чай, вскипяченный в ведре на горелке, забежали трактористы. Сергей Берченко, уютно устроившись на самодельном железном сейфе — первой служебной мебели для Ямбурга, вспомнил свой давний поход из Пангод на Новый Уренгой.

Тогда его трактор при переходе через речку провалился. Воды не было, оказалась воздушная подушка подо льдом, но выбраться никак не удавалось. С Сергеем был парень, сопровождавший груз. Так вот тот парень сказал, что километрах в двадцати по дороге есть буровая. Они пошли к ней, а мороз-то был минус сорок семь с ветром... Сергей сузил в валенок кусок колбасы, в другой — нож, на всякий случай.

Шли, отдыхали, зарывшись в снег, как куропатки, и снова шли. Огни буровой увидели за несколько километров. Тогда решили отдохнуть — сил больше не было. Парень зарылся в снег, Сергей сказал, что покараулит, и присел, прислонившись к лиственнице. Как ни сопротивлялся, а все же задремал. Так и уснул бы навсегда, если бы не страшный грохот рядом. Очнувшись — на предельной скорости мимо шел трактор. Рванулся за ним — ноги не идут. Выхватил колбасу из валенка, запустил в кабину, да разве услышишь что-нибудь в таком грохоте?

Сергей давился в бессилии слезами, когда вдруг осознал: трактор удалялся, а шум мотора вроде бы нарастал. Обернулся — второй идет! Раскинул руки и пошел навстречу. Последнее, что заметил — тракторист из кабины осторожно вылезал с ружьем на изготовку. Потом Сергеем вливали в рот спирт. Он пришел в себя и сказал, что с ним был парень. Вернулся первый трактор. Серегина вапарника обнаружили в двадцати сантиметрах от гусеницы. Он крепко спал.

— Вот идем сейчас первыми, и нам даже горячий обед вертолетом подвозят, — завершил свой рассказ Берченко, протягивая кружку за добавкой. — А вот кончится десант — по опыту знаю, — внимание как отрубит... Только на себя надейся. А ведь нам по этому зимнику на Ямбург еще сотни рейсов делать. Надо дорожную службу наладить.

(В декабре 1984 года, когда непогода надолго прижала авиацию к аэропорту, я снова шел на Ямбург зимником. Поздно вечером наш автопоезд сделал остановку на фактории. По-прежнему ни обогреться здесь, ни отдохнуть... И связи нет никакой.)

Стояла очень тихая ночь, какая бывает в пятидесятиградусный мороз. Часа два назад нам повстречалась колонна, возвращавшаяся с Ямбурга. Ее вел Швец. Он

предупредил про полынью, где провалился недавно грузозовик, и посоветовал осторожно, но идти всю ночь без остановок — утром будет пурга.

Мы так и сделали. И, когда в последний момент счастливо объехали неприметную, уже покрытую ледком полынью, в который раз с горечью вспомнилось пророчество Сергея Берченко и — добрым словом — Александр Швец. До сих пор водительский опыт — единственная действующая в Заполярье «дорожная служба».)

«...А Швец пойдет?»

Пятьдесят четыре километра, пройденные за минувшие сутки, пробудили у всех страсть к арифметике. Делили, складывали, отнимали — получалось, что дойдём до Ямбурга за двое суток. Это было утром четвертого дня, когда около бензовозов встали на заправку «Уралы».

Гудели бензонасосы, курился дымок над избушкой — рыбац-ненец только что унес туда мешок замороженного хлеба. У них кончилась мука, а вертолета давно не было. Мороженный хлеб — это из армейского опыта нашего повара Жени Лаврика.

— Главное, — говорит Лаврик, — хлеб надо замораживать еще горячим, сразу после пекарни. Тогда, если его и через три месяца занести в теплое помещение, он будет душистым и свежим, как из печки.

А мы удивлялись: откуда свежий хлеб?!

Швец прислушивался к математическим вычислениям, покуривал, глядя, как змеится поземка, а потом встал в разговор:

— Ничего из вашей арифметики не получится. Эти сто километров на здепнюю розу ветров не помножили... А «роза», гляньте-ка, волчком вертится!

И верно, ночью ветер скатывался из тундры, час назад вдоль берега дул, а сейчас в гору поземку гонит...

— Что ты знаешь о Шведе? — спросил я Володю Пушкарева.

Пушкарев возился с обувью. Пока заправлял машины — замерзали ноги в сапогах. Сейчас снял их, чтобы одеть теплые, нагретые мотором валенки. Попытался вытащить шерстяные носки из сапог, но не сумел — пристыли к подошве. Так и заснул их под капот, пусть сначала оттают. А ступни все-таки прихватило, они отходили в теплых валенках с ноющей ломотой. И Володя ответил не сразу:

— Работает он здесь давно... Некоторые считают, что Швец в этих местах и родился, настолько он хорошо знает их. Из любой переделки выведет. Когда нас спросили, согласны ли мы в январе пробиваться в Ямбург, мы, не сговариваясь, ответили вопросом: «А Швец пойдет?» С ним не страшно.

Через несколько часов над Обской губой разыгралась пурга. Колонна «подобралась», шли впритирку, не дай бог отстать, — санный след сдувало со льда в секунды.

Непонятно, как разглядел колонну среди бушевавшей пурги вертолет. Присел, не выключая моторов. Выгрузили запчасти для бульдозера и газеты. С газетами вышел конфуз: пачка оказалась за декабрь прошлого года. Однако десантники посмеялись, но быстро разобрали «свеженькую» прессу на самокрутки, на портянки и другие важные дела.

А вскоре топографы остановили колонну. Потерялся из вида берег. Возьмешь невзначай левее и угодишь в... Карское море. До него отсюда тысяча километров, но выход по губе прямой.



Снова собрались в вагончике у газовой горелки, как у костра. Настроение не очень — прошли всего четырнадцать километров. Одна радость — заварили ведро чая. Неожиданно пришел Швец с четырехлитровым металлическим термосом, попросил кружку и начал заполнять свою посудину.

Нашего повара стало раздувать от возмущения:

— Ну-у... Если все с такими будут ходить...

— А больше ни у кого такого нет.— Швец спокойно ополовинивал ведро.— Это не термос. Это ценный подарок. Прочитай-ка...

Он подвинул сверкающий термос Лаврику, и тот послушно вслух прочитал гравировку: «Ветерану Медвежьего...».

— Вот,— подытожил Швец.— А ценные подарки надо уважать. Кто утром захочет горяченького, прошу ко мне,— и плотно закрутил крышку. Он смотрел на нас с каким-то мальчишеским озорством, как бы спрашивая: ну, кому еще жалко горячего чая для гостя?

Мы пили душистый чай, и Швец рассказывал, как приехал в эти места после армии в 1960 году. С нефте-разведочными экспедициями извездил Ямал вдоль и поперек. Возил грузы в буровые бригады, открывшие месторождения Медвежье и Уренгойское. Этими же местами ходил вдоль губы мимо будущего Ямбурга. Десятки колонн провел от Лабитнанг до Надьма и Пангод и, действительно, ни разу те, кого он вел, не попадали в аварийные ситуации.

— Немного тундру понимаю, маленько ездить научился,— растягивая слова, сказал Швец, подражая говору исконных ямальцев, которых полюбил и с которыми прожил рядом в ненецком поселке Ныда вот уже более двадцати лет.

— А что, про меня ребята всякие небылицы наговорили? — вдруг спросил он, улыбаясь.— Вы лишку про меня не пишите. Мало ли что наговорят.

И две бочки про запас...

За четыре дня пути и пурги что-то надломилось в людях. Весь пятый день двигались как бы с оглядкой, ожидая подвоха от погоды. В результате осилили всего тридцать километров, хотя на ночевку остановились поздно, около часа ночи.

Среди трактористов на удивление бодро держался Николай Филоненко. А ведь ему приходилось тяжелей других. По сути дела, он прокладывает трассу впереди на своем старом полуболотнике с красным флагом над электростанцией. Его тягач невозможно было спутать — бросались в глаза две большие, притороченные сзади кабины бочки с горючим.

Без них он не выезжал в рейсы вот уже много лет. С тех пор, когда колонну тракторов, шедшую из Надьма в Лабитнанги в сорока километрах от Оби застала пурга.

Пурга не стихала шесть суток. Кончилось горючее, продукты. Решили добираться пешком. Сколько шли, Николай не помнит. Вышли на берег Оби, увидели вдалеке причал, и силы их покинули. Потом ему уже рассказывали, что вскоре наткнулся на них вездеход, возвращавшийся из Салехарда. Водитель погрузил их в кузов, довез до столовой на причале, перенес в зал. Там, на полу, они проспали двое суток. Время от времени их навещал врач и запрещал будить.

— Из тех трактористов, что тогда со мной шли, я больше никого никогда не встречал, все уехали с Севера...— рассказывал Филоненко.— А я вот остался. Но без запасных бочек никуда не выезжаю. Боюсь пурги.

На маршрутном листе, подготовленном топографами, место нашего бивуака называлось так: устье ручья Нижняя Лазерьяха. Отсюда до конечной точки — пятьдесят километров. (Опять круглая цифра! Ну кто мешал нам остановиться на полчаса раньше?!)

Ручей столетиями выносил сюда на берег песок из тундры. Отмель около устья протянулась метров на двести в глубь губы. Это хорошо видно сейчас, в середине зимы. Отмель промерзла. Лед изгибается, как шелковая облегающая ткань, подчеркивая неровности дна, и только вдали, там, где начинается глубина, блестит ровная поверхность.

— Точно так же и в устье Нюди Монгогоепоки,— Богданов произносит название речки разом, не спотыкаясь.

Мы стоим у вездехода топогруппы, и Богданов рассказывает о том, как выглядит Ямбург. Через день-два я сам увижу, но уже сказывается нетерпение: чем ближе конец перехода, тем больше разговоров о Ямбурге.

Главное я уже для себя представил: все так же, как здесь, в устье речки Нюди, где весной будет прорыт подходный канал. Сама Нюдя не больше этого ручья. Она каждую зиму промерзает до дна, особенно сильно — в мелководном устье, где образовался мощный слой вечномерзлых пород. Его-то и предстоит прогрызть десанту газодобытчиков.

О том, почему газодобытчики решили освоить рытье каналов, я немного знал. В этих заполярных широтах вообще никто и никогда не производил подобных работ. Но без канала к берегу не подойти. Прошлым летом, когда намечался десант, речники категорически отказались вести дноуглубительные работы из-за вечной мерзлоты и частых штормов. Они утверждали, что нужно ждать, когда развернется специализированный отряд гидростроителей, который построит порт.

Порт, конечно, необходим, соглашались газодобытчики. Но вот Надьму пошел второй десяток лет, а речной порт все еще строится. Такое может случиться и с Ямбургом. К тому же по предварительным планам ввод его первой очереди совпадает с пуском двух первых промыслов на Ямбурге. То есть через четыре года... А четыре года от пионерного освоения до промышленной эксплуатации — это только-только. Значит, срочно нужен канал и нужны временные причальные сооружения в устье речки Нюди, чтобы во что бы то ни стало провести навигацию.

Надымгазпромовские инженеры искали описание аналогичных объектов в специальной литературе и готовили зимний десант. Представитель Иртышского пароходства, побывав в Надьме, предложил пари: мол, ничего из этой затеи с каналом не выйдет. Пари было принято.

Мощный шестидесятитонный бульдозер, который

пришел на месторождение со вторым санным поездом, легко снял слой льда на 150-метровом участке. Стал рылхлить песок и... работа остановилась. Машинисты бульдозеров в изумлении разводили руками. Сверхтвердые коронки клыка-рылхлителя стачивались о смерзшийся песок, как мягкое железо о наждак.

Пришлось перестраиваться на ходу: рылхлить ложе канала при помощи взрывов. И ябургский «бетон» поддался. За семнадцать дней круглосуточной работы было вынута болсе пятидесяти тысяч кубометров грунта. 12 мая подходной канал длиной 340 метров, шириной — 60 и глубиной 3,5 метра был готов. Когда в июле последние льдины унесло за горизонт, началась первая ябургская навигация. Она продолжалась два с половиной месяца, и тысячи тонн грузов были доставлены на месторождение.

Но ночью 22 января 1982 года первопроходцы еще дремали напротив ручья Нижняя Лазерьяха в пятидесяти километрах от цели. И до нее еще нужно было дойти.

Каравай на Ямбурге

К середине шестого дня пути прошли девятнадцать километров. Погода стояла отличная, но все уже настроились на седьмые сутки пути: три километра в час — больше не получалось.

Вертолетчики завезли газеты. И центральные, и местные сообщали о санном поезде, идущем к Ямбургу. Газеты передавали по рукам, читали вслух. На снимке, сделанном еще на девятом промысле и опубликованном в городской газете «Рабочий Надьма», некоторые узнали себя.

И вот что значит настроение! Колонна пошла быстрее. А потом трактористы предложили пропустить «Уралы» — снегу на льду мало, что им плестись за тихоходами? «Уралы» вслед за вездеходом Богданова быстро двинулись к месторождению.

— Ставьте чай, — нанутствовал Филоненко. — Как вскипит, так и пойдём.

Мы оставляли позади наших гусеничных труженников с понятным чувством неловкости: по самым смелым подсчетам тракторы смогут достичь Ямбург только под утро.

А наша автоколонна уже в седьмом часу вечера чуть не проскочила устье речки. В темноте прожекторами высвечивали берега, пока не увидели наконец вагончик, наполовину занесенный снегом, и рядом — три фигуры с ружьем и фонариками.

Это были самые первые жители Ямбурга — звено плотников, доставленное сюда вертолетом две недели назад: Владимир Придатко, Николай Охрименко, Александр Литвинов.

Ребята, соскучившись по общению, по новым людям, рассказывали о проведенных здесь днях, пытались показать, где русло, вертолетная площадка. Но стояла глухая темень и насвистывал злой ябургский ветер, по словам Володи Придатко, менявший направление на все 360 градусов.

Неожиданно со стороны губы донесся знакомый рокот тракторов. Это было невероятно, но санный поезд подходил к устью речки! Когда «Уралы» обошли колонну, Филоненко стал разгонять свою тяжелую электростанцию, включил предельную скорость и увлек за собой остальных. Последние двадцать четыре километра они прошли за три часа вместо предполагаемых восьми!..

Подкатив к вагончикам, трактористы тут же освожились от своих санных прицепов. Делали они это

как-то быстро, даже торопливо, будто спешили...

А спешить больше было некуда. Вот она, малюсенькая точка на карте, которую высветили прожекторами несколько часов назад водители «Уралов». И тогда, не стовариваясь, нажали на клаксоны и, нарушив построение, разом лавиной кинулись на «орентиры», размахивающие ружьем и фонариками.

А сейчас, видимо, очередь трактористов. Вот, скатившись с берега, тут же застопорил левую гусеницу Сергей Берченко, и его трактор завертелся на льду волчком. Николай Филоненко сделал несколько вращений, а потом пошел змейкой. Он тормозил попеременно то левой, то правой гусеницами, и лихо виляла грузная часть его полуболотника с притороченными бочками. Филоненчук на своем двухэтажном «Кировце» не рисковал идти на сложные пируэты — он гонял большими кругами вокруг танцующих тракторов и не снимал руки с клаксона, пицавшего, как на смех, тонко и жалобно.

Почерневший, осунувшийся Суптеля смотрел на своих людей, которые высовывались из кабины и орали черт-те что, на технику, которая, одолев зимник, могла разбиться в этой пляске, и улыбался. Над Ямбургом сейчас звучала одна торжествующая музыка, и все были настроены на эту волну.

Утром мы забрались на высокий прибрежный холм, у подножия которого стоял вагончик изыскателей. Переход завершен! Техника, грузы доставлены на месторождение... Интересно, какое оно?

К востоку, насколько охватывал взгляд, простиралась холмистая равнина, часто изрезанная глубокими оврагами. И — ни одного деревца. Здесь, наверху, и снега-то почти не было — все сдувал ветер. Ниже, метрах в пятистах, — небольшая ровная площадка. А вдоль нее, плавно изгибаясь, лежала Нюдя — промерзшая до дна, неживая речка.

И — все. Невеселое место рождения у заполярного газа... Шесть суток, недосыпая, с постоянным ощущением холода люди шли сюда. И вот она, стылкая, пронизанная ветрами тундра, в которой надо научиться жить и работать.

На ровную площадку у берега реки трактористы выводили электростанцию, столовую, выстраивали в первую улочку четыре вагончика. Все, кому предстояло возвращаться домой, в Пангоды, в Надьмы, с какой-то особой заботливостью помогали тем, кто оставался здесь, — разгружать машины, подсоединять кабели, обустриваться.

...В полдень на площадке будущего поселка состоялся торжественный митинг. Десятки рук держали красное полотнище транспаранта: «Ямбург — наш!» Ветер вырывал его из рук, выдавливал слезы из глаз.

А после митинга отогрели в дизельной и разделили на всех каравай. Тот самый, врученный перед дорогой, на девятом промысле Медвежьего...





Станислав ЛОМАКИН

Хроника одного поступка

Из города в районный центр Иван Васильевич Бушаев добрался на автобусе во второй половине дня. Ему еще предстояло доехать до центральной усадьбы совхоза «Рассвет». Выяснил на автовокзале, что автобус пойдет только через полтора часа, и решил как-то скоротать это время. Он потоптался некоторое время около буфета, в котором кроме газированной воды и пряников ничего не было, затем отправился бродить по улицам большого села. Однако бесцельного времяпрепровождения не получилось.

Иван Васильевич зашел в книжный магазин и застрял. По уже сформировавшейся профессиональной привычке начал рыскать по полкам, начав с тех, которые были обозначены как «общественные науки». Подойдя к кассе, вспомнил, что он уже не философ, а без пяти минут пчеловод, и, полистав философские книги, отнес их обратно, заплатив только за словарь. Выйдя из магазина, он решил открыть книгу и прочесть первое попавшее выражение, которое должно дать направление в его новом роде деятельности.

Иван Васильевич открыл словарь на странице 524 и прочел из оды Горация: «Если ныне нам плохо, то не всегда так будет и впредь». «Ну что ж, обнадеживающее начало», — подумал он.

Приехал Иван Васильевич на центральную усадьбу совхоза перед концом рабочего дня. В конторе застал директора и секретаря парткома. Директор, плотный, невысокого роста, усталый, в годах мужчина, был немногословен. Начал с того, что знает о намерении Ивана Васильевича принять совхозную пасеку и что его предшественник, старый пчеловод, теперь пенсионер, сдаст ему все хозяйство и на первых порах поможет. Что же касается жилья, то жить пока придется на пасеке, там есть изба. А сейчас на второе отделение поедет секретарь парторганизации, Семен Васильевич, он и подбросит до пасеки.

Секретарем парткома Иван Васильевич был знаком. Именно от него узнал об освободившемся месте пчеловода совхоза, когда был в районе с лекциями. Тогда и загорелся и ждал только конца учебного года, чтобы уйти с преподавательской работы. Секретарь парткома дорогой в машине охотно рассказывал о совхозе, об урожае прошлого года, о том, что недавно окончил высшую партшколу заочно и что раньше работал агрономом совхоза.

— Все-таки, Иван Васильевич, вы меня извините, но на кой ляд вам нужна эта пасека? Вы столько учились, столько знаете, мы ведь тогда слушали вас два часа и еще бы слушали. Это ведь надо — иметь такую память. Это ж надо: все бросить — институт, книги, научную работу. Не могу найти объяснение.

Иван Васильевич, все время молчавший, тихо ответил: «Я и сам не могу вам объяснить, почему человек поступает так, а не иначе. Лев Толстой в своих дневниках часто ставил подобные вопросы перед собой, но не находил ответа. А Достоевский как-то заметил, что «человек — целый мир, было бы только основное побуждение в нем благородно».

Подъехали к высокому забору из досок, который тянулся вдоль кукурузного поля. На воротцах висел огромный замок, но было видно, что он лишь имитировал крепость. Открылся он, конечно, без ключа. Шли по вытоптанной тропинке, по обе стороны которой расположились ульи. Иван Васильевич суеверно загадал: если пчела ужалит, начало будет плохим. Но пчелы мирно вились около домиков, деловито копошились у входа в улей.

— Вот ваше хозяйство, — развел руками Семен Васильевич, — всего двадцать шесть ульев.

Зашли в избу. Вместо двери — рама, затянутая марлей. Чувствовалось, что в избе давно никто не был.

— Раньше, — вновь заговорил Семен Васильевич, — у Митрича всегда здесь водилась медовуха. Ох и вкусная!

— Больше не будет, — тихо сказал Иван Васильевич.

— Это почему же? — вскинулся секретарь.

— Да так, не пью, товарищ секретарь.

Чтобы кончить этот неприятный для него разговор, Иван Васильевич заметил:

— Память ухудшается, и пчелы, говорят, не любят пьяных. — И, стараясь перевести беседу на другую тему, добавил: — Вы знаете, Семен Васильевич, на том поле, где сейчас кукуруза, раньше росла гречиха. Это было так хорошо для пчел. Конечно, пчелы могут летать и на далекие расстояния, но они изработываются и прежде всего изработываются их крылья. Пчелы ведь гибнут не только от химизации полей и верроатоза, но и от невнимания людей.

«Ишь, какой глазастый!» — подумал секретарь парткома.

Проводив начальство до машины, Иван Васильевич возвращался медленно, хотелось насладиться тишиной уходящего дня, солнцем, лучи которого лениво скользили по макушкам редких деревьев. Воздух был наполнен запахами разнотравья, стрекот кузнечиков и жужжание

В позапрошлом году журнал («Уральский следопыт» № 1) опубликовал документальную историю Станислава Ломакина «Цыган». Она вызвала отклики — читательница взволновала судьба русского мальчишки, которого война разлучила с родителями и забросила в цыганский табор, ставший ему второй семьей.

Уже самим названием С. Ломакин подчеркивает, что и в основу новой жизненной истории, описанной им, положены документальные события. В письме в редакцию автор называет фамилии ученых, которые послужили ему прототипом героя, выведенного в рассказе.

пчел настраивали на размышления о сущности жизни, гармонии и вечности природы.

Последнее время ему часто снилась сибирская деревенька, в которой он провел свое голодное, послевоенное детство. В памяти ожила одна картина. Он со своими сверстниками играет в войну. Они лазали по пригону, прятались в хлеву, в бане, а чаще всего во дворе многодетной семьи Усольцевых.

И вот однажды во время очередной боевой операции засевшие партизаны услышали громкий голос хозяйина дома, Кондрата Матвеевича Усольцева: «А ну, вояки, подлетайте к крыльцу, надо вычистить бочку из-под меда, в ней кое-что осталось по стенкам». Что тут было... Около двух десятков мальчишек высыпали из своих укрытий.

Что и говорить, ребятишки тех лет в далекой сибирской деревне годами не видели сахара, не говоря уже о конфетах. Пройшло уже столько лет, но слаще того меда он ничего не ел в жизни. Но, конечно, не этот случай определил его судьбу. Стать пчеловодом пришлось не вдруг, и это не какая-то блажь, об этом он мечтал давно. После окончания семи классов хотел учиться на пчеловода, но такой возможности в районе не было. Закончил училище механизации сельского хозяйства, затем работал трактористом, комбайнером, шофером, слесарем, каменщиком, плотником, словом, к двадцати годам имел десять специальностей. Закончил вечернюю школу, поступил в университет, потом работал три года директором сельской средней школы. Однако потянуло в горы, решил попробовать себя в роли преподавателя высшей школы.

О давней своей мечте с годами вспоминал все реже и реже. Но мечта жила, особенно она не давала покоя в суетные дни, когда хотелось все бросить. И вот на сороковом году жизни решился. Когда заведующий кафедрой огласил заявление Ивана Васильевича Бушмаева на имя ректора института об увольнении по собственному желанию, все, как по команде, повернулись к нему, а некоторые воскликнули: «Как? Почему?! Куда?»

— Буду предельно краток,— сказал Иван Васильевич,— собираюсь ехать в деревню работать пчеловодом.

Его прервали, со всех сторон посыпались реплики: «Это сумасбродство, чудачество, инфантилизм». «Заколодило человека»,— посочувствовал женский голос. «Вы же почти доктор наук, у вас готовая диссертация, на что себя обрекаете? Вы зачехлите в деревне от скуки, от отсутствия общения, книг! Ваше реноме, как преподавателя, таково, что вас не поймут ни в ректорате, ни в парткоме, ни в райкоме».

— Он хочет совершить революцию в сельском хозяйстве вообще и в пчеловодстве в частности,— иронизировал коллега, сидевший у окна.

Перебивая шум голосов, Иван Васильевич заявил, что революцию он не собирается делать, а хотел бы честно работать на совхозной пасеке.

— В ваших репликах явно проскальзывает дух пресловутой концепции о престижности профессии.— Реплики задела его, и он отвечал более воинственно, чем хотелось бы.— Не думаю, что профессия пчеловода менее значима в нашем обществе, чем философа. Вы же сами не однажды возмущались тем, что на базаре продают мед по 7—8 рублей за килограмм, да при этом разбавленный сахаром, с подмешанной мукой. А я хочу вас советовать давать натуральный мед.

Итоги дискуссии подвел все время молчавший профессор Солодилов. Он оказался единственным, ставшим на защиту доцента Бушмаева.

— Мы не один год,— медленно заговорил он,— знаем Ивана Васильевича как преподавателя и как че-

ловека. Если человек, умудренный большим жизненным опытом, подобный шаг сделал сознательно, не по воле прихоти или сиюминутного желания, то это, если хотите, мужественный человек. Как-никак, работа в институте— это кусок жизни, и немалый. Сами понимаете, какая у него гам будет зарплата. Ему нужно все начинать сначала, да мы даже не представляем, с какими трудностями ему придется встретиться.— И совсем неожиданно профессор заключил:— Через год я уйду на пенсию и, если Иван Васильевич возьмет меня в помощники, серьезно говорю, я приеду к нему работать.

Так закончился разговор на кафедре. Но еще предстоял разговор дома, и не менее трудный.

Сообщение о том, что он уволился из института и через три дня уезжает в деревню, вызвало бурную радость у сыновей. Жена, Вера, едва сдерживая себя, заявила: «Мол, пусть один отец едет в свою Тмутаракань, пусть один там дурью мается. Найдет там молодуху из доярок и заживет на славу».

— Вера, посгесняйся детей, о чем ты говоришь?

— Что думаю, то и говорю. Ты думал о нас всех? Ребята скоро школу кончат, их нужно куда-то пристроить. Да, я вижу, что ты им все время подсовываешь книги деревенщиков, в свою веру собираешься обр-ать.

— Это они сами решат,— с явным раздражением сказал Иван Васильевич,— а что касается книг деревенщиков— Абрамова, Астафьева, Белова, Шукшина, Солоухина, Распутина, то это книги, по которым будущие потомки будут изучать наше время. Их книги, может быть, скажут больше, чем сотни научных монографий о развитии деревни второй половины двадцатого века.

— Господи,— уже всхлипывала Вера,— у всех мужья как мужья, к чему-то стремятся, имеют машины, дачи, а тебя, кроме книг, никогда ничего не интересовало. И еще выкинул на старости лет такую блажь.

Иван Васильевич даже подумал: «Неужели опять сорвется и начнет кидать с полки книги?» Она прекрасно знала, что таким образом, да еще в присутствии детей, причинит ему боль. Как он страдал в эти минуты! Жалел ее и ненавидел. Правда, на сей раз до этого не дошло.

Так, ни до чего не договорившись, Иван Васильевич уехал в деревню. И сейчас, сидя на дереве, перебирая в памяти события прошлой недели, Бушмаев не судил тех, кто отговаривал его от поездки в деревню, старался понять себя через этих близких ему людей.

Однако хватит воспоминаний. Выбор сделан, завтра на работу и надо идти обживать избушку. Хорошо бы кошку пустить по деревенскому обычаю, подумал он, а то, как говорят, домовую каждую ночь душишь будет. Ничего, пусть подушит немного, заведем со временем и кошку, и собаку.

В избе имелось одно окно, небольшой стол, покрытый клеенкой, на столе одиноко торчала железная кружка. Впритык к столу стоял топчан, сбитый из грубых досок-сороковок, на топчانه лежал матрац, небрежно прикрытый старым шерстяным одеялом. Одну четверть избы занимала русская печь с лежанкой, такие кладут только в Сибири. С ней не пропадешь даже в лютые морозы. Дрова имелись. Он приметил две спаренные поленицы, гнущиеся от собачьей конуры, да пристройку, котерая, видимо, служит для хозяйственных нужд. Ему вдруг захотелось, как в детстве, забраться на печь. Уже в полудреме он подумал: хорошо, если приедут сыновья. Они будут незаменимыми помощниками. Надо их приучать к крестьянскому труду, приучать к общению с природой, засыпая, думал Иван Васильевич.

...Сказки, сказы. Если удача — они, даже и написанные, как сказываются. Если нет — остаются вне жанра, как земля без неба.

Главный герой Евгения Богданова — народ. С традициями, историей, духовными заповедями. Писатель работает в жанре, соблюдая и раздвигая его каноны. Переиначивая на свой лад языковую фигуру, как бы придает ей новое дыхание.

Думаю, что сказы Богданова сказываются, хотя они и написаны. Какая-то особая растворимость слова — не в ткани, а в облаке сказываемого. Много эха, как в лесу, и много простора, как в степи осенью.

Егор ИСАЕВ

СКАЗ О СЕМИ ИСПЫТАНИЯХ

Евгений
БОГДАНОВ

Рисунок
Олега
Шапкина



...Я жил у бабки Секлеты уже вторую неделю. С утра уезжал в бригады собирать материал для статьи, а вечером у жаркой печки оттаивал от мартовских мозглых морозов. Печка поверх глины крашена была охрой, пол скоблен до воскового свечения и застлан самотканьими половиками с рисунком в бордовый ромбик. Вот какая, стало быть, цветовая гамма.

Секлета, крупная старуха с темным морщинистым лицом, носила коричневый сарафан и красную, дерзкую по ее летам кофту; в ушах позвякивали медные, доисторических времен серьги. Была эта бабка примечательна той деятельной добротой, которая впечатлительному иностранцу показалась бы обидным вмешательством во внутренние дела. Ее касалось решительно все. Привезут ли новую технику, Секлета уж тут как тут, впрягается в разгрузку наравне с дюжими молодцами, да еще успевает доглядывать, чтобы не обронили ящик, не погнули дорогостоящий механизм. Возводят ли где избенку, Секлета непременно влезет на леса, попеняет плотнику на кривой глаз. В тот мой приезд колхозники вывозили сено из дальних лесных заначек. Натрусили, как водится, на дорогу. Секлета, вооружась граблями, собрала урон, сметала копешку под самые конторские окна и наглядным этим примером вогнала в стыд беспечных молодых сеновозов. Рады ей были в любом доме. Подомовничать ли с малыми ребятишками, поиграть ли песни на празднике, — замены Секлете не было. Но вот от чего она отказывалась наотрез, так это от участия в похоронах и отпеваниях. Странно вроде бы? А ничего странного нет, смерть Секлета ненавидела и, хотя лично ее не страшилась, приравнивала ее к бесхозяйственности либо же к напасти, которую можно предотвратить, а на худой конец — отодвинуть своевременными заботами. Себя она не щадила ни в какой работе, но к восьмидесяти годам сохранила силу и стать в отличие от согнутых в подкову сверстниц. И не растрясла ума.

Теперь трудно припомнить, с чего у нас с нею зашел разговор про Ермака Тимофеевича: кто он родом, откуда, как возник в здешних местах. Секлета поделилась своей версией.

Тут вскипел самовар, и за чаем она рассказала побывальщину, показавшуюся мне столь замечательной, что я не поленился и тотчас записал ее. Но, надо сказать, оттого, что писал в больших попыхах, а почерк у меня хуже некуда, то, конечно, пронизательный читатель обнаружит кое-какие потери. Увы...

О Ермаке немало чего в наших краях рассказывают. Будто бы никакой он не донской казак, а наш природный сибирский уроженец. Фамилия ему была Оленин, звали Василием. Жил он до поры у отца с шестью братьями. Все до единого ладные да приглядные, охотники первой руки. Втупор проживали они на зимовье, спроть Тобольского большака. Семья была дружная, удачливая, вся округа этих Олениных уважала.

Вот одна приходит к Ермакову отцу Тимофею старики-выборные: «Тимофеюшка, будь отец родной, исполни просьбу великую. Окажи честь, возьми над нами голову, стань над воинством атаманом. Подымается из-за Туры-реки бусурманская орда. Хочет голобородый Кучум-хан наши деревни и пашни зорить, неповинный народ себе мять. А нас, талалаев, совет не берет, бывает, из-за безделицы друг дружку лупим».

Усадил их Тимофей кто на чем стоял, поднес браги ядреной, поклонился в пояс. И так ответил: «То не я вам честь, а вы мне оказываете, почтенные. За народ, за дома и пашни наши каждому постоять зачестно. Но посудите сами, какой из меня воин нонче? Кабы кто годков сбросил. А то ведь глаз дальше ложки ни рожна не видит, рука ослабла. Чашу-то еще удержать может, но и то не всклень, ноженьки поспешные простуда замаяла, иной раз до отхожего места не поспеваю. Та-

кой предводитель рати помеха, а Кучумке на руку».

Появились посланцы головами, не такого ответа ждали.

Говорит тогда Тимофей: «Не тужите, премудрые. Это беда поправимая. Родил-вскормил я семерых сыновей, удальцов да умниц, не при них будь сказано. Берите любого в атамановья, не прогадаете. Гей, сынки мной рожонье!»

Взошли в горницу семеро Тимофеевых сыновей. Один одного краше, а на особицу никто не выразился, все равны. Воздели на них старики глаза, зацурились. Эдаких богатырей сразу семь сроду не видывали, хоть и век прожили. А Тимофеевы ребята знай в усы посмеиваются, плечиками поигрывают. Кого выбирать, когда все хорошо? Не дать бы промашки.

Тимофей по другому кругу чашу пустил.

Наконец взял слово самый старый старик Евден. «С нашего посмотренья,— говорит,— проку не будет. Вон гриб-мухомор, всеми статьями взял, а в пирог не сунешь. Надо молодцов на деле спытать».

«Что верно, то верно,— остальные старики прищипывают,— на деле надобно их опробовать!»

Так и порешили. Назначили семь испытаний. Кто доблестно осилит, тому воинство на татар вести. А первым испытанием положили молодцам идти по русской стороне, всем вместе, во все вникать, ко всему приглядываться. Что увидят, о том и ответ держать.

Пошли ребята. Сколько-то пространствовали, воротились.

«Отчего это, ребяташки,— старики спрашивают,— ушло вас семеро, а вернулось шестеро?» Тимофей тоже загомосился: «Отчего не видать старшего моего сына Степана?»

Отвечают молодцы: «Оттого не видать Степана, что в великое смущение душа у него пришла. Много увидали мы лиха на белом свете, на русской стороне, о чем и докладываем. И с этого самого подался Степан в монастырь за всех скорбящих молиться, и мы его не удерживали».

«А почто же вы следом не подались?» — спрашивает Евден.

«А пото, дедушка,— удальцы отвечают,— что окроме бед да напастей живет и правда на свете. Ну а Степка этого не уразумел».

«Вот добрый ответ! — старики кричат.— Ай, башковитые же у тебя отростки, Тимоха!»

Старик Евден объявляет: «Второе испытание будет такое. Ступайте теперь всяк в одиночку, всяк своей дорожкой и поскорее вертайтесь. Поглядим, с чем придете».

Пошли ребята поврозь, прогулялись и воротились.

Говорит один: «Я лебяжье гнездо с яйцами нашел, но не польстился. Зачем без надобности зорить?»

«Похвально», — старики кивают.

Говорит другой: «Я капкан увидал, а в нем соболя, но мимо прошел. Не мной ставлено, не мне брать».

«И этот поступок много похвален», — старики одобряют.

Говорит третий: «Я изрядно голодный был. Вдруг гляжу, сохатая с телянком бежит. Вскинул ружьишко, но стрелять не стал. Авось, думаю, и так не помру. И вправду не помер».

«Тоже и ты похвально поступил».

Говорит четвертый: «Я на дороге узелок с деньгами нашел. Поднял и понес в деревню. Слышу в одной избе крик да плач. Кто помер? — спрашиваю. А в соседях мне объясняют, дескать, этот хозяин по бедности коня на базар свел, а деньги в горе великом не уметил, как выронил. Я тогда узелок-от и подаю страдальцу. То-то радости было!»

«Вот этот поступок на особь похвален. Ну а ты, меньшак, почему молчишь, за спины жмешься? Почему бос и без кафтана?»

«Я степью шел,— отвечает пятый,— а погода — падера, то снег с дождем, то дождь со снегом. Вдруг чую, где-то человек вскльктывает. Подошел ближе, гляжу: прощается с жизнью купец нагой, немочный. Я ему хлеб и рог с вином, и одежду отдал. Я молод, ходьбой угреюсь, а ему гибель».

«Этот поступок из всех похвальнейший! — в один голос старики прокрякали.— А отчего купец-то растелешился?»

«Да маячил, будто шел с ярманки. Попался ему попутчик хороший. Ну и, как положено, обобрал до нитки».

«Значит, вот отчего нету с вами шестого моего сыночка Кузьмы! — Тимофей ревет.— Значит, верный послых прошел, что Кузьма на большаке варначит!»

Тут только все заметили, что братьев стоит перед кругом пятеро, а шестого в появе нет.

«Позор, позор седой моей башке и всему роду покура! — Тимофей причитает.— Вы собирайтесь-ка, старички разумные, в другом месте атамана искать!»

На это самостарый старик Евден говорит: «Уймись, Тимоша, брось веньгать. Справедливо сказано: «Русь без варнаков, что суп без соли. А позор семейству твоему мы не усматриваем: один брат взял, а другой отдал».

С эстоль мудрыми речами все согласились. И было назначено молодцам испытанье на крепость слову. На сей раз послали в тайгу ко горюч-камню сабельки поточить. Велено было, чтоб прямо шли, никуда не сворачивали.

Долго ли, коротко ли шли, шли братья и уткнулись в урман чащобный. Четверо вынимают из ножен сабельки и решают рубить просеку. А пятый усмехается: «Эдак вы до морковкина заговенья проканителитесь, а не лучше ли обойти сысбоку?» На то ему отвечают: «Не лучше. Мы слово старичью давали, и дорога наша прямая».

И вот, воротясь от горюч-камня, держат они ответ: «Ваш наказ, дедушки, мы выполнили, слово сдержали. Как пошли мы ко горюч-камню, то встрял нам на пути дикий урман. Учали мы скрозь него рубиться, а брат Роман не схотел. Пошел окольного пути искать, да, видно, все еще не сыскал».

Тимофей опять запечалился: «Если после каждой испытке у меня по сыну недоставать будет, кто старость мою согреет?»

«Не печалься, Тимофей,— круг его утешает,— не за тем они рожены, чтобы весь век возле тебя сидеть. В том твой и подвиг, что взрастил сыновей для отечества. Такие робята везде нужны. Тем и грейся».

«Ну а как докажете, добры молодцы, что у горюч-камня отметились?» — Евден спрашивает.

«А вот как,— добры молодцы отвечают.— Отступите-ка от стола». Стали они каждый у столовой ножки. А ножки дубовые были, цельного дерева, мелкому человеку в обхват. Изготовились братья, махнули враз саблями. Стол даже не шелохнулся.

«Экие вы, робята! — старики смеются.— Так то вы сабельки наострили, что и царпка на ножках нету!»

Берут ребята столешницу за четыре угла да вместе с чашами поднимают. А ножки на полу остались, под самую репицу срезаны.

«Ай, удалцы! — старики дивуются.— Ловко вы нам носы-то утерли!»

Дадено было Тимофеевым сынкам новое испытание: освоить каждому ремесло по душе и, достигши сноровки, проверить себя на верность ратному делу. Кто не придет, с того спроса нет.

В четвертый путь отправились Тимофенчи. Долго ходили, да скоро обернулись.

Выступает один, рапортует: «Я у бортника ремесло перенимал, рапортует, научился за пчелками досматривать, мед качать. Шибко мне это ремесло поглянулось, однако бросил — ратное мое дело!»

Выступает вперед другой: «Я кузнечное дело усваивал. До всего натакался, кольчатую рубаху себе сковал. А надел и понял — мое дело ратное!»

Выступает вперед третий: «Я к офене-коробейнику на выучку попал. Все хитрости мне открыл: как народ дурачить, как денежки наживать. Ну, я ему на прощанье, не сбившись, все кости пересчитал. Ратное мое дело!»

«Молодцы, робята! — круг отвечает.— А где ваш четвертый брат?»

«Где Гаврила?» — отец волнуется

«Гаврила девку-красотку встретил. Живет та красотка в высоком терему. Сомустила Гаврилу, пропал казак. Не могу, говорит, без этой красотки. Видно, говорит, мое ремесло — детишек плодить».

«Кхе-кхе,— старики квохчут.— А хороша ли красотка-то?»

«Хороша!» — хором братья отвечают.

«Ну и ладно, что не страхолюдина,— самостарый Евден подытоживает.— Бог даст, добрых казаков родит».

Не успели о том вдосталь наговориться, как прибегают обгорелый мужик, кричит с задышкой: «Лес горит, люди добрые, с четырех углов полымя!»

«Эка напужал, окаянный,— старики серчают.— Эта беда не беда, а полбеда. Как раз мы должны трицу нашу удалую на новое испытанье слать. Пошлем в таком разе на пожарище. Пускай тушат, вот им новый урок.»

— Что же получается? — перебил я рассказчицу.— Кучум собрался народ зорить, войско у него наготове. Что ж, он сидел и ждал, пока казаки атамана выберут?

— Для Кучума время по луне бежало, а для наших — по солнышку,— нашлась Секлета.— Ты слушай да не сбивай. Эта притча подлинней носа птичьа. Но не намного. Вскрай надоели робятам эти прокзаменовки, да деться некуда. Взаялся за гуж, не говори, что не дюж. Охота тоже узвать, который в башлыки выйдет. Похватали багры да ведра, побежали пожар тушить.

Побежали троицей, а вернулись во-два.

«Где третий ваш брат?» — старики нахмурились.

«Где Гришуха?!» — Тимофей убивается.

«Остался Гришуха у бабки-лекарки, обгорел шибко».

«А как же вы сбереглись?»

«Недосуг было обгорать-то, огнице гасили. А Гришуха все больше руками махал да командовал».

Осталось из всех братьев двое, Иван да Василий. Кому булаву отдать, когда оба хороши? Один старичошка кричит: «Ивану!» Другой — «Василию!» Дед Евден насилу унял. Велит отбор продолжать, коли впереди еще два испытания. Там, дескать, видно будет. «И то верно», — старики согласились.

Отправились молодцы во шестой раз, на новое испытанье, в Кучумов стан. Задание было трудное: разведать, сколь велико Кучумово войско, в

чем его сила, а в чем слабинка и как сподручней за него браться.

Прокралась Тимофеичи под самый стан. Который постарше, Иван Тимофеич, младшему, Василию Тимофеичу, шепчет: «Полезу я, братка, дале, а ты жди. Не попадусь, дак приду.»

Уполз Иван, как в воду канул. Ждет-пождет его Василий — нет братца! Видит, из лога ханские подводки выезжают. Ухоронился под кустиком, смотрит в оба. Что за охабню такую на арбе везут? Не то бубен, не то котел вверх дном. Остановились подводчики, оброть поправляют. Взял Василий камень, метнул в сторону. Татаровья настожились, заворкутали чего-то. Потом всем скопом в ту сторону, где камень пал, побежали. А Василий, не будь плох, на дорогу выскочил, под котел нырнул. Вернулись обозные, тронулись. Василий под котлом ухо вострит. По-ихнему он не шибко понимал, скумекал, однако, что котел этот, по-ихнему ермак, везут самому Кучуму. Известный был обжора безвыточный, в один присест двух баранов съест и на третьего волком смотрит. Вот и отлили ему рабы казаночек.

Провезли Василия через все становье. Подневольные-то мастера не особо расстарывались, дак нарочи в котле дырку оставили. В этот волчок молодец и поглядывает, где что примечает. Углядел и братца своего Ивана. Сидит Иван, голову повесил, к дереву цепями примотан. «Ладно, брат, — Василий про себя думает, — недолго тебе сидеть. Ворочусь с воинством, отвяжу!»

Подвозят котел к шатру Кучумову, зовут хозяина. Раздернул Кучум полог, вытащился наружу. Скребет котел ногтем, радуется: «Якши, якши!»

«Якши-то якши, — Василий думает, — а что ежели тебя пугнуть? Станется с тобой родимчик али выстоишь?»

У добра молодца слово с делом не ссорятся. Набрал полны груди воздуха да как гаркнет! Кучум со страху сомлел и прочие зашатались. По-нятно, в крытой посудине голк нешуточный. А Василий плечи расправил, поднял котел да на Кучума вмах и надел. «Уй, ермак, уй, ермак!» — подханки визжат и кто куда вроссыпь. Василий же вскочил на ханского скакуна и был таков.

Ждут-дожидаются старики разведчиков. Тимофей другую бочку на круг выкатил. Да не унять хмелю отцовской тревоги, не вспенить стылую кровь.

Тут и взошел в горницу сам-ждан. Самостарый Евден на радостях вприсядку пустился, да на бороду наступил, пал, с ногами не сладил.

Рассказывает Василий, что приметил, с какого боку Кучума брат. Обсказал про брата, не смолчал и про ханский казан. Смеху было — дом ходенем ходил.

Просмеявшись, встают старейшие, Василию Тимофеичу в землю кланяются: «Быть тебе, Василий Тимофеич, нашинским атаманом!» И булаву серебряную преподносят.

Дедушка Евден еще так примолвил: «А супостату на память и для вечной устратки зваться тебе Ермаком!»

«Ладно, — Василий отвечает, — я в согласи. Хоть горшком назовите, только в печь не ставьте».

С тех пор и пошло за ним звание: Ермак да Ермак. И до того крепко прильнуло, что многие доподлинного имени атамана не знали. Навеличивали Ермаком Тимофеичем.

Ушел Ермак Тимофеич орду окорачивать, седьмое великое испытание ладить. Ничего не скажешь, победоносный был атаман. И вот штука: куда ни двинет, везде у него брат объявится!

Брату радость, Ермаку подмога...



... А Я СЛЫШУ ОТГОЛОСКИ БОЯ

Иван НОВОЖИЛОВ



Если бы в апреле сорок пятого мне сказали, что я проживу еще сорок лет и снова приеду в Опаву, я бы не поверил. Трудно было даже представить, что останусь живым в том аду, когда на каждом шагу горела земля, плавился металл, в дыму и огне рушились здания, рвались снаряды, мины, свистели пули... Однако выжил, хоть и лишился в тех боях ноги. И не только выжил, но и дважды съездил в места бывших боев...

В 1975 году городской национальный комитет в горком КПЧ Опавы прислал мне официальное приглашение на празднование 30-летия освобождения от гитлеровских захватчиков.

До этого, по просьбе членов исполкома, я подготовил для городской газеты «Новое Опавско» два своих очерка. От ребят из школы имени Народной милиции мне пришло письмо: «Из опубликованных очерков мы узнали, что вы освобождали наш город и были тяжело ранены... Учащиеся нашей школы разыскивают советских воинов, которые освобождали Чехословакию. Напишите нам о людях, которые воевали рядом с вами».

Я сообщил фамилии и адреса уральцев, в том числе и тех, которые сражались за город Опаву, назвал бойцов и командиров своего 915-го ордена Суворова III степени стрелкового полка, погибших в апрельские дни сорок пятого, и попросил ребят разыскать их могилы...

Готовясь к поездке в ЧССР, побывав в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны. Из многих тысяч документов, пробитых осколками, размытых дождями на длинных и суровых дорогах войны, просмотрел те, которые относились к боям за Опаву и к нашему полку: приказы, оперативные сводки, боевые и политические донесения, журнал боевых действий, списки личного состава и безвозвратных потерь, подшивку дивизионной газеты «За Родину!»...

И вот я в Опаве. Первым делом отыскал местность, где тридцать лет назад полк занимал исходное положение перед штурмом города. Как все кругом изменилось! Бывшее село Катержинки вошло в черту города. На месте разрушенных домиков стоят громадные здания... Увидел неподалеку сохранный дот — или, как его здесь называют, «бункер». На подступах к Опаве только с этой, северо-восточной, стороны было девять таких дотов с разным числом амбразур. В каждой амбразуре находились тяжелые станковые пулеметы или противотанковые пушки. Перед линией дотов сплошь стояли провололочные заграждения в 8—10 рядов, между ними — «начинка» из мин. В специальных ячейках прятались снайперы и автоматчики, а на открытых площадках установлены были пулеметы для фланкирующей и фронтальной стрельбы.

Вспомнил, как в апреле сорок пятого дивизионные саперы под прикрытием сумерек добрались к переднему краю обороны противника. Они разрезали проволоку и обезвредили мины, сделал два прохода, и бойцы

из батальонов капитана Н. Руденко и старшего лейтенанта К. Башарова устремились вперед.

Бой был как бой. По сигналу ракет заговорила артиллерия, наши орудия ослепили амбразуры двух вражеских дотов. Командир пятой роты капитан В. Жирнов и его штурмовая группа разделились с одним дотом, еще одна группа, правее, захватила второй дот. Во вражеской обороне возникли непротреливаемые места, и наши бойцы ворвались в Катержинки.

Отделения сержантов И. Дубровина, Г. Васильева, Ф. Лесканова и П. Гуменюка на плечах отступающих гитлеровцев продвигались к северо-восточной окраине города.

Перед батальоном капитана Руденко поставлена задача: не задерживаться в уличных боях, зайти в тыл фашистов, под покровом ночи выдвинуться к мосту и обеспечить переправу полка и всей дивизии. Пока бойцы отбивались возле моста, саперы старшего лейтенанта Г. Альбукова нашли брод и переправились на другой берег. Минеры перерезали провод, тянувшийся к электротоннотрам и фугасам. Батальон Руденко погнал вражеских солдат по мосту на западный берег — и там их встретили длинными автоматными очередями саперы... А вслед фашистам, с восточного берега, били из пулеметов бойцы младшего лейтенанта Алексея Иванникова. Гитлеровцы заматались меж двух огней... Через несколько минут мост, целый и невредимый, был в наших руках: переправа трех стрелковым полкам обеспечена.

В городе фашисты стреляли из окон каждого дома, забрасывали наши наступающие роты гранатами и фаустпатронами. Бои за мостом шли ожесточенные — за каждую улицу, квартал, дом...

Командир орудия Миша Ненцов со своим расчетом выкатил пушку в пехотные ряды и прямой наводкой ударил по засевшим в двухэтажном доме фашистам. Подействовало!.. К соседним домам, прижимаясь к стенам, добрались бойцы из отделений Г. Васильева и П. Гуменюка: в цокольных этажах захлопотали гранатные взрывы. Бойцы брали дом за домом...

Не надеясь удержать город, немцы старались хотя бы затормозить наше продвижение, используя для обороны любое укрепление — стены домов, развалины, баррикады. То тут, то там ежеминутно вспыхивали рукопашные схватки. Боец Николай Блиновский гранатой уничтожил расчет ручного пулемета, а его товарищ Петр Пипеев уложил трех гитлеровцев, пытавшихся захватить командира роты капитана Жирнова, в азарте боя вырвавшегося далеко вперед. Рядовой Антон Черный уничтожил семерых фашистов, на счету Владимира Маркина их было одиннадцать...

В центре города противник выдвинул три «тигра» и около сотни автоматчиков, которые держали под прицельным огнем площадь с расходившимися от нее ве-

ром улицами. Среди домов, как гигантский скелет, торчал остов какого-то храма и возвышалась чудом уцелевшая башня. На танки с фаустпатронами пошли комсорг батальона Сергей Измоленов, младший сержант Александр Белоногов и бойцы Александр Медведев, Николай Пакулев и Михаил Шестаков. После получасового боя «тигры» убралась с площади.

Бойцы нашего, 915-го полка, действовавшего левее 908-го и 914-го полков, в это время пробивались вдоль улицы Острожной. Весь день не затихал бой...

Так я и запомнил Опаву в апреле сорок пятого — сплошные руины, завалы из кирпича, балок, сожженных танков, самоходок, автомашин, разбитых орудий, повозок...

Восстал из руин преображенный город с красивыми благоустроенными кварталами, соединившими в себе архитектурные памятники и оригинальные современные сооружения. Грудно представить сейчас, что тут было... Но все то было! Красноречиво напоминают об этом офицерские и две братские могилы на городском кладбище, строгий гранитный памятник возле них. Здесь погребено 3300 советских воинов, погибших при освобождении города и его окрестностей.

...Из Опавы через Отице поехали в Углиржов. И здесь, на месте былых развалин, стоит утопающий в зелени садов красивый поселок.

Вышел из машины возле крайних домиков. По обе стороны дороги раскинулись поля с озимыми. Цветущие яблони, весеннее благоухание, тишина... А я слышу отголоски давнего боя... Здесь 25 апреля 1945 года закончился мой боевой путь.

Вон из-за той вышки, урча, выполняли на наши поредевшие порядки фашистские танки, бронетранспортеры с автоматчиками. Чем их остановить?.. Чем?! Одна из двух «сорокапятков» в батальоне взлетела от прямого попадания, вторая исчезла под бронированным брюхом «тигра». Погибли наводчик сержант Иван Заварухин, горьковчанин, командир орудия старшина Григорий Макаров из Ульяновска.

И тогда поднялся сержант Фаддей Лесканов, омич родом. Противотанковая граната в огромной ручище казалась игрушкой, но «тигр», шедший на солдата, был огромен и страшен. Бросок — и «тигр», как ручной, встал! Глядя на Лесканова, и другие взялись за гранаты. Расстилая по земле гусеницу, закрутился на месте второй танк, рядом вспыхнул третий — вражеская атака захлебнулась. А на правом фланге бился батальон капитана Руденко, и там гитлеровцам тоже не удалось смять наши ряды.

К вечеру, отразив врага, 915-й стрелковый полк продолжил наступление в сторону города Градец над Моравицей. Но об этом я узнал лишь на другой день, в армейском госпитале, куда был доставлен после тяжелого ранения.

...Нет, не напрасно проливали мы свою кровь в ожесточенных боях с гитлеровскими оккупантами! На земле, обильно политой ею, родилось, ожило, окрепло новое государство. Я видел из окна вагона сады и поля. Я видел на улицах городов возрожденную красоту и улыбки людей.

Со многими людьми я познакомился в Опаве, и вот уже больше десяти лет поддерживаю тесную связь. Письма приходят из Штабловиц, Славкова, Крварже, Отице, Углиржова — со всего Североморавского края. Часто пишут члены русского клуба школы имени Народной милиции в Опаве. Ребята сообщили, что в районном конкурсе, проводившемся под девизом «Ищем советских воинов, освободивших нашу страну», их школа заняла первое место. Сообщили они и о том, что послали через

военкоматы письма родственникам двенадцати погибших бойцов.

«Мы постоянно вспоминаем о тебе, — пишет член парткома завода «Острой» Станислав Квасничка. — В нашей многотиражной газете опубликована твоя статья о Свердловске. Выходила она по частям и вызвала большой отклик у наших рабочих».

«Бригада товарища Иржи Сатке, — говорится в другом письме, — в которой ты являешься почетным членом, занимает передовой пост в социалистическом соревновании. По ее инициативе возникло движение соединенных бригад. Коллектив получил много наград, и его оценивают лучшим не только на заводе, но и во всем Опавском районе. Как видно, ты не должен стыдиться за свой коллектив...»

О делах тружеников сельскохозяйственного кооператива «Прогресс» и села Углиржов сообщает Карел Плахка, Иржи и Анечка Черны, семья Валечек. «...Мы много строим. Жители Углиржова постоянно вспоминают Вас, приходится знакомить односельчан с каждым письмом. Некоторые Ваши письма мы передали в Штабловице, там, в школьной хронике, они и находятся...»

Первый секретарь райкома КПЧ Ярослав Помыкал подробно рассказал о том, как трудящиеся района выполнят задания пятилетки и планы производства товаров на экспорт в Советский Союз, какую достойную встречу готовили XVII съезду КПЧ.

«...Примите искренний привет из красавицы Опавы, которая благодарна всем советским воинам, освобождавшим город и нашу страну, — пишут руководители городского национального комитета Иржи Доуха и Йосиф Гайдусек. — Мы помним и чтим память всех павших советских воинов, которые спят вечным сном далеко от своей Родины, в братской чешской земле...»

Только в боях за Опаву 22—25 апреля сорок пятого года наш полк потерял 147 бойцов и командиров.

В селе Грабыне воздвигнут величественный мемориал. Среди нескольких тысяч советских и чехословацких воинов увековечены имена уральцев: младшего сержанта Александра Белоногова из Пышмы, рядовых Николая Блиновского из Уфалея, Хафиза Исламова из Аргаяшского района Челябинской области... Не вынут живые цветы и у памятника воину-освободителю на одной из центральных площадей Опавы. О вечно живой памяти наших солдат и офицеров говорят названия площадей, проспектов, улиц.

Из писем я знаю обо всех изменениях, которые произошли в Опаве за последние годы. Но одно дело знать, и другое — видеть своими глазами. В 1985 году, проезжая по проспектам Ленина, Красной Армии, улице Готвальда, площадям Освободителей, Защитников мира, видел я десятки многоэтажных жилых и административных зданий, школ, магазинов, культурных, спортивных и детских учреждений. В центре Опавы поднялась комфортабельная гостиница «Камышин», названа она по имени города-побратима в Волгоградской области. Появился новый район Опавы-Килешовицы. Вошли в черту города местечки Яктарж, Комаров, Мале Гоштице.

...На встрече со следопытами школы имени Народной милиции я рассказывал ребятам о девятнадцатилетних уральских парнях Николае Пакулеве, Александре Медведеве, Михаиле Шестакове и других. Они погибли во время боев за села Отице, Славков и Албрехтички.

Недели через три после моего возвращения из ЧССР пришла увесистая бандероль с надписью: «Родным Николае Васильевича Пакулева». Ребята вложили в конверт письмо, фотографии братской могилы советских воинов, буклет с видами Опавы и значок с гербом города.

Мать Николая, Ольга Семеновна Пакулева, проживала в селе Коптяки Новолялинского района. Но в сельском Совете мне сказали, что никого из родственников солдата в Коптяках не осталось. Тогда я решил обратиться через новолялинскую газету ко всем жителям района и красным следопытам с просьбой помочь отыскать родственников или близких Пакулевых.

Пришло сразу несколько откликов. «Старожилы нашего села хорошо помнят Николая Васильевича Пакулева,— пишет секретарь исполкома сельского Совета.— Имя его, как и других земляков, не вернувшихся с войны, указано на обелиске, что стоит на площади в центре села...»

«Прочитала ваш материал о своем земляке и родственнике Николае Пакулеве,— пишет из поселка Красный Яр Мария Абрамовна Коптякова (девичья фамилия Пакулева).— Жили мы по соседству. Хороший он был парень, работающий, очень сожалеем, что погиб. Но что поделаешь, не он один не вернулся с фронта... Под Великими Луками погиб мой муж А. В. Коптяков, под Ленинградом убит родной брат А. В. Пакулев...»

Пришло письмо из Казани, от сестры Николая Клавдии Васильевны Котляровой:

«...Прочитала статью в районной газете, которую мне прислали. Очень вам благодарна за память о брате... Коротко расскажу о нашей семье. Отец наш, Василий Квинтильевич, крестьянин, в 1918 году записался в Красную Армию. Отца вместе с другими красноармейцами расстреляли в Верхотурье белобандиты. На руках у мамы осталось трое ребят, Николай старший... Он учился и помогал по хозяйству: пахал, сеял, боронил, косил. С 16 лет стал работать. А когда началась война, сразу же отправился на фронт. Очень часто писал маме. К сожалению, после смерти мамы письма не сохранились.

Передайте, пожалуйста, благодарность школьникам из Опавы. Их письмо, фотографии и открытки прошу передать в школу, где учился Николай...»

Родственникам Александра Белоногова из Пышминского района, Александра Медведева из Красноуфимского района (их помогли разыскать читатели районных газет) так же переданы письма из Опавы.

Разыскивают чешские ребята родственников или близких знакомых рядовых Николая Андреевича Блиновского, уроженца Уфалейского района, Василия Александровича Назарова из Миньярского района, Хафиза Исламова — Аргаяшского района Челябинской области; Петра Васильевича Пипеева, уроженца села Сычево Варгашинского района и разведчика Дмитрия Семеновича Гончарова из деревни Васильевка Половинского района Курганской области.

Все эти бойцы похоронены в Опаве.

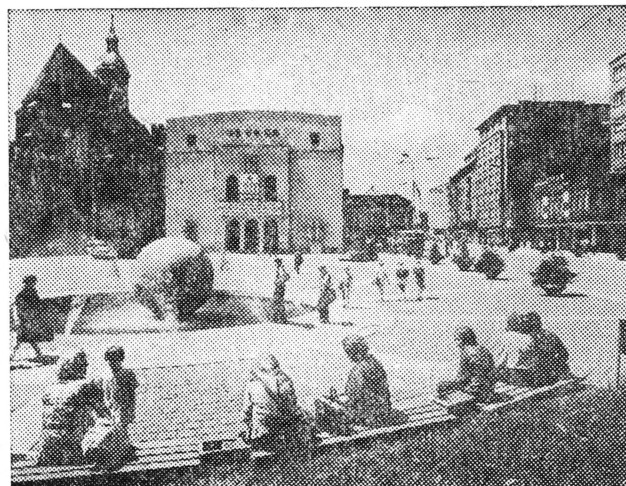
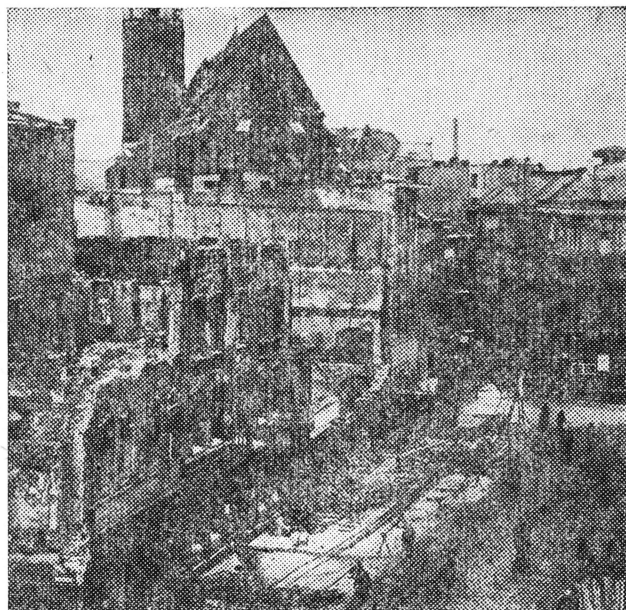
Опавы — Свердловск.

На снимках:

1. Могилы советских воинов на городском кладбище в Опаве.

2. Северная часть города — площадь Первого мая: так она выглядела в мае 1945 года.

3. Площадь Первого мая — сегодня; в центре — здание театра.





Загадки
«Сборника
Кириши Данилова»

ЧУВИЛЬСКИЕ ПЛЕСЫ НА ВОЛГЕ

Анатолий ДЬЯКОВ,
Вадим СМЕРНОВ,
Виктор ХАЛТУРИН

«Сборник Кириши Данилова» — старейший по происхождению сборник былин — был создан в начале XVIII века на Урале. Автор его — безвестный знаток русской песни записывал былины с большой любовью и бережливостью. В истории русской — да и мировой — фольклористики эти древние стихотворения занимают, пожалуй, не менее важное место, чем «Слово о полку Игореве» в истории русской культуры.

Изучением сборника долгое время занимался известный ленинградский исследователь А. А. Горелов. Работая в нижнетагильском архиве, он обнаружил в документах демидовских заводов запись о «помощнике кричного мастера Кирише Данилове». Эта-то находка и позволила говорить о неведомом собирателе былин и исторических песен как о реально существующем лице. А. А. Горелов утверждает, что сборник принадлежит к урало-сибирской эпической традиции и отражает репертуар одного певца.

Но в самой истории создания Сборника, судьбе его составителя немало загадок. Прежде всего поражает география, представленная в нем: это Волга и Чусовая, Тобол и Иртыш, Амур и Лена, города «понизовские сибирские» и вместе с тем волжские. А судьбы героев Сборника! Здесь и скomorохи, посланные на окраины Руси, и солдаты петровских времен, и вольные волжские удалцы, и казаки Ермака Тимофеевича. В Сборнике обилие имен и фактов, связанных с Волгой, с Верхним Поволжьем, поэтому отнести его только к урало-сибирской эпической традиции нельзя.

Сборник открывает зачин былины «Про Салавья Будмировича». Он хорошо всем знаком, так как исползован Н. А. Римским-Корсаковым в опере «Садко». Этот запев встречается только у Кириши Данилова.

Высота ли высота поднебесная,
Глубота глубота океан-море,
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты Днепровские,
Чуден крест Леванидовский,
Долги плеса Чевылецкие.
Высокие горы Сорочинские,
Темны леса Брынские,
Черны грязи Смоленские.

Но что это за «долги плеса Чевылецкие»? Что за сочетание? Имеет ли оно какой-то конкретный смысл или просто вставлено для красоты слога?

Поиски загадочных «долгих плесов Чевылецких» привели нас в реальный городок Плес Ивановской области, удивительная красота которого воспета И. И. Левитаном. В 1985 году отмечалось 575-летие этого города.

Кстати сказать, в одной из ранних исторических песен Сборника «О Щелкане Дуденьевиче», связанной с тверским восстанием в 1327 году, опять же упоминается Плес.

В районе Плеса, основанном сыном Дмитрия Донского Василием в 1410 году, по местным преданиям, находился в добатыевские времена легендарный град Чувиль.

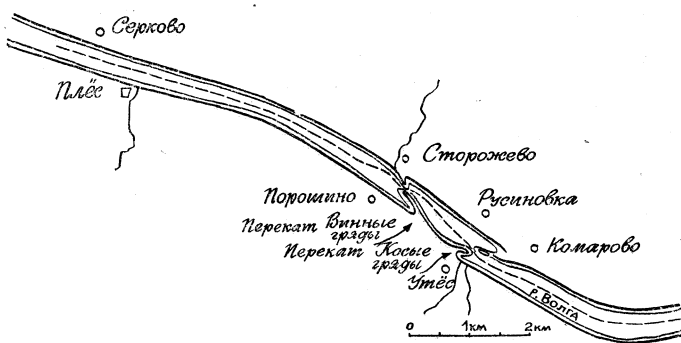
Писатель Ф. Д. Нефедов (1838—1902), проводивший здесь в конце прошлого века археологические раскопки, писал в своем отчете: «На правом берегу Волги, ниже Плеса, вся местность носит название Чувиль». Однако археологические работы никаких следов добатыевского города здесь не обнаружили.

Само слово «чувиль» чисто волжского происхождения и обозначает — воробышек. Вероятно, поэтому местные жители называли эту местность еще «птичье царство». Название это не встречается ни в исторических источниках, ни в географических справочниках, но его крепко хранит людская память. Чувилью называли еще хороводную игру в «воробышка». Играющие должны были пройти через своеобразный живой лабиринт для того, чтобы добыть «невесту». Как не вспомнить «Повесть временных лет», где о древланах, соседях полян, говорится: «Браков между ими не было, а схожахуся на игрищи». Вероятно, хороводная игра в «чувиль» и является отголоском древних славянских игрищ.

Итак, второе название Плеса — Чувиль, отсюда и возможное сочетание «плеса Чивилецкие», «чувилецкие». Замена «у» на «и» в живом разговорном языке не выглядит натяжкой.

Что же известно из трудов историков о той эпохе? В какой степени фольклорные тексты с их напластованными различными эпох могут служить нам достаточно вескими аргументами?

Позволим себе краткий экскурс в историческое прошлое. 1410 год. «И повеле великий князь Василий Дмитриевич рубить град Плесо». Летописи освещают это, казалось бы, рядовое событие довольно широко. Идет переломный период в отечественной истории: второй этап объединения русских земель вокруг Москвы и освобождение от татар. Это время богато яркими событиями и в мировой истории. Осажденный турками-сельджуками, вот-вот падет Константинополь. Перерезаны традиционные торговые пути, ведущие из Европы в страны Востока. Европейцы настойчиво ищут новые, и близка уже эпоха великих географических открытий. В это время привлекает внимание древнейший путь «из Варяг в Арабы», где Волга играла особую роль. На нее поглядывал могущественный Ганзейский союз. С Ганзой был связан Господин Великий Новгород.



Для удельных нижегородско-суздальских, ростовских, ярославских и тверских князей выход в Волгу имел также решающее значение. В это напряженное время по приказу Василия Дмитриевича и возводилась крепость на «волжском плесе», получившая название Плес. Это была первая крепость, построенная за пределами Московского княжества.

Военно-оборонительные мероприятия Московского княжества проводились продуманно. В 1365 году Дмитрий Иванович, получивший впоследствии за победу на Куликовом поле свое громкое имя Довской, «...задумал ставить град камень Москву». Весной 1367 года новый кремль с его каменными стенами был уже заложен и «начали строить его беспрестанно». Систему укреплений дополнили монастыри-крепости, построенные на дорогах, ведущих к Москве: Симонов, Петровский, Сретенский, Рождественский, Сергиев и другие. В это же время были возобновлены работы по укреплению Серпухова, Коломны, Вышгорода, Звенигорода.

Продолжая дело отца и деда, Василий Дмитриевич укрепляет Переславль-Залесский, в 1408 году строит град Ржев, а в 1410-м — Плес. Как видим, это было довольно сложное и широко задуманное предприятие и пока должным образом до сих пор неопределенное в отечественной истории.

Анализ содержания летописных сводов позволил предположить, что Василий I покинул Москву, находившуюся под угрозой татарского набега Едигея, в конце ноября 1408 года, а вернулся в конце лета — начале осени 1410 года. Таким образом Великий князь провел в Костроме почти два года. Впервые эту мысль высказал известный исследователь истории Плеса Л. П. Смирнов.

Этот факт ставит под сомнение устоявшееся в отечественной историографии мнение, что Василий I бежал с семьей в Кострому, спасаясь от полчищ Едигея. В действительности же московский князь располагал немалыми воинскими силами. Всего за два месяца до наступления Едигея московские рати успешно противостояли на Угре отрядам литовского князя Витовта. Хорошо известно, что Москва, оборона которой была поручена герою Куликовской битвы Владимиру Андреевичу Серпуховскому, так и не была взята Едигеем. Но что же удерживало Василия I в Костроме? Никаких объяснений на этот счет летописи не дают.

Московскому княжеству за время отсутствия Великого князя был нанесен немалый урон. Видимо, дела серьезной государственной важности удерживали Василия I в районе Костромы. Мы предполагаем, что это было связано с подготовкой и началом сооружения Плесской таможенно-оборонительной системы.

Впервые на мысль существования этой системы на-

вела составленная 75 лет назад «Историческая записка о заштатном городе Плесе». В ней упоминается местное предание о том, что «русские люди для усиления борьбы с грабителями придумали устроить в самой Волге своеобразную крепость. Они засыпали Волгу от правого берега камнями, оставив лишь небольшой проход для судов. Эта каменная преграда, уцелевшая до настоящего времени, носит название Винные Гряды».

А вот что говорилось об этих грядах в одном из справочников по судоходству на Волге, изданном в середине прошлого века: «...Винные и Косые гряды между селом Сторожевым и деревней Комарово по своему каменному характеру представляют для судов опасность, ибо при довольно быстром на них течении нужно круто поворачивать судам около самих гряд от левого берега к правому для обхода лежащих около гряд на протяжении 2,5 версты больших камней». Подтверждали это старые лоции и другие документы.

В 1985 году в районе Плеса была проведена комплексная экспедиция Ивановского инженерно-строительного института. В изучении гряд приняли участие профессиональные водолазы, потому что созданное в 1956 году Горьковское море подняло уровень реки в этом месте на восемь метров. Опасные перекаты скрылись под водой.

Анализ найденных документов и данные экспедиции позволили в общих чертах представить подводную крепость (см. рис.).

Она имела вид гигантского треугольника, углы которого упирались в существующие и ныне деревни Сторожево, Утес и Комарово. Одна сторона треугольника — левый берег Волги. Две другие стороны образовали каменные гряды — Винную и Косую. В каждой из гряд был сделан только один узкий проход для судов и то у разных берегов, а в центре русла реки, в полукилометре вверх от этого своеобразного лабиринта, из воды грозно торчали острые камни. Можно представить, какая опасность поджидала суда, идущие по Волге.

— Вода у нас была хоровадная, — рассказывала нам семидесятитрехлетняя В. Н. Тарасова, потомственная волжанка из деревни Русиновка. — Зазеваешься на лодке, попадешь в винт, трудно из него выгрести. А потом опять не зевай — или опять в винт попадешь, или лодку разобьешь. Одно слово — Чертов поворот, как его старши звали.

Именно этот подводный лабиринт и является ключом к разгадке легендарного Чувиля. Каменные гряды были своего рода ловушкой для проплывающих по реке врагов. Это и сохранила народная память, связав по прихотливой поэтической ассоциации перехват кораблей с хоровадной игрой-ловлей.

Плеса Чивилецкие: плесская крепость, подводный лабиринт и сторожевые остроги представляли собой единую таможенно-оборонительную систему. Один из сторожевых пунктов находился в деревне Сторожево (не правда ли, горячее название). Отсюда в ясную погоду Волга просматривается на 20 километров вверх по течению. Если судно, идущее вниз по Волге, не заходило в Плес и не брало лопмана, из города подавался сигнал, который принимали в Сторожеве. Судно, не зная фарватера, налетало на камни и захватывалось или уничтожалось.

Обратимся вновь к «Сборнику Кириши Данилова». В уральской былине о Садко ее герой — не новгородский купец, а волжский «сур» или «суровеп». Так в старину называли удалцов только на Владимирско-Суздальской земле. Да и действие былин происходит на Волге. Вот плывут корабли Садко. Вдруг «корабль на море стал». Садко выходит на крутой берег, попадает в таможенную избу (причем таможня упоминается в былинах сборника

неоднократно). Садко советуют: «поводись ты со людьми со таможенными»... «И тут Садко, купец, богатый гость, со всех кораблей в таможенно положил казны сорок тысячей».

Теперь сопоставим эти былинные сюжеты с нашей гипотезой. Корабли подходят к плесской гряде. Они вынуждены остановиться. Купец выходит на крутой плесский берег, идет к таможене, где и платит пошлину. И только затем его пропускают дальше.

Читаем строки из известного «Хождения за три моря» Афанасия Никитина: «...и из Костромы отпустили мы добровольно... и на Плесо приехал есми добровольно... и из Нижнего Новгорода отпустили мя добровольно...» Афанасий Никитин отмечает заход в четыре русских города на Волге: Углич, Кострому, Плес, Нижний Новгород. Если Углич открывал для тверича владения московского князя, а заход в крупные торговые центры Кострому и Нижний Новгород вряд ли нуждается в особых комментариях, то посещение военной крепости, расположенной в 59 километрах от Костромы, причем без надежды пополнить продовольственный запас (по данным исследователей Плес в XV веке не имел посада), выглядит более чем странно.

Отсюда можно предположить, что, во-первых, заход в Плес был обязательным для любого судна (таможенный досмотр) и, во-вторых, миновать без местного лоцмана подводный лабиринт было невозможно.

Впечатляют масштабы работ, организация такой сложной системы сооружений, включающей в себя град Плес, подводную крепость, цепь острогов-сторожей. Кроме древоземляных сооружений применен валунный камень. По предварительным расчетам его потребовалось уложить на дно реки не менее 40 тысяч тонн. Перекрытие Волги (данные Плесской экспедиции 1985 года подтверждают, что подводная крепость имеет искусственное происхождение) относится к числу наиболее значительных сооружений средневековой Руси, а возможно и Европы. Кстати, плесским валунным камнем уже в наши дни было перекрыто русло Волги у Горьковской и Рыбинской ГЭС, закреплены берега от Чкаловска до Ярославля.

Плесская оборонительная система служила и таможенной, и ключом к Костроме. Именно здесь укрывался Дмитрий Донской с семьей во время нашествия Тохтамыша в 1382 году. Василий Дмитриевич жил здесь с семьей с 1408-го по 1410 год. Не забывал Кострому и Василий Темный в сложный период феодальной войны.

В построении Москвой Плеса виден еще один стратегический расчет. 1393 год. К Москве отошел такой важный политический и торговый центр северного края, как Вологда. В руках Москвы оказалась вся верхняя часть Сухоно-Двинского водного пути от Вологды до Устюга. Это открывало дорогу в одну из самых богатых новгородских колоний — в Двинскую землю. Московские князья сделали Устюг главным опорным пунктом своего продвижения на восток — от Двины в Пермские земли, на Урал и Сибирь.

Благодаря выгодному географическому положению большое значение приобретает Кострома. По реке Костромке и далее на Сухоно шел главный путь на север в Двинские земли. Двинская уставная грамота Василия I 1397 года предусматривала льготы на провоз товаров через Кострому в Двину. Поэтому есть все основания считать, что закладка крепости Плес, крепости в Костроме в 1416 году (тоже Василием Дмитриевичем) и крепости в Устюге в 1438 году (Василием Темным) явились звеньями хорошо продуманного стратегического плана.

Как показали дальнейшие события русской истории, именно через Вологодскую землю и ее город-крепость, город-воин Устюг осуществлялось покорение европейско-

го севера. А с середины XVI века древняя артерия северного края — Сухоно-Двинская магистраль стала основной дорогой из Западной Европы в Россию. По ней шли покорять Урал и Сибирь, в том числе и атаман Ермак Тимофеевич. И открылся «путь удобоезден» в обширную речную систему Сибири. Русские окончательно укрепились в нижнем течении Оби, в устье Тазы и далее по Турухану вышли в низовье Енисея.

Только в Сборнике мы встречаем уникальный сюжет, в котором новгородский гуслир Садко «вдруг» превращается в «волжского сура». В былине «Садко — богатый гость» он говорит:

А спасибо тебе, матушка Волга-река!

А гулял я по тебе двенадцать лет,

Никакой я прятки-скорби не выдывал

над собой...

Может возникнуть вопрос: а не относятся ли сюжеты былин «Садко — богатый гость» и «Садков корабль стал на море» к новгородской эпической традиции? Но в былине о путешествии Садко-волжского сура в Новгород чувствуется не только уважение к новгородцам, но и откровенная насмешка над ними:

Богат Новгород всякими товарами заморскими

И теми черепками — гнилыми горшками.

Присмотримся повнимательнее к пейзажу былины:

Выходил Садко на круты берега,

Пошел Садко подле синя моря,

Нашел он избу великую,

А избу великую, во все дерево...

И лежит на лавке царь морской

Судя по всему, речь идет о крутых волжских берегах, а не о низменных Волхов-реки. Снова загадка. На наш взгляд, в Поволжье существует особая эпическая традиция, о которой мы пока мало знаем. И распространена эта традиция была довольно широко. Для убедительности приведем еще строчки из былины «Про Василия Буслаева»:

Пришли тут мужики залешане

И не смел Василий показаться к ним...

В свое время это немало озадачило В. Г. Белинского. Как же так, новгородский удалец испугался никому не ведомых залешан. Залешанами в древности новгородцы презрительно называли выходцев из Владимиро-Суздальского княжества (залесские), ну а те в свою очередь платили им острой насмешкой. И это стремление возвыситься за счет новгородцев, высмеять их весьма характерно для былин «Садко — богатый гость», «Садков корабль стал на море», «Василий Буслаев».

Рискнем высказать свою гипотезу происхождения Сборника. То, что тексты былин и исторических песен прошли своеобразную скоморошескую обработку, для нас несомненно. Скоморохи, «невщие прошедшую историю на голосу», бережно сохранили все, что связано с Верхним Поволжьем. Возможно, оно было их прародной. Они превосходно разбирались в исторических событиях начала XV века и последующих эпох, связанных с централизацией Руси, освоением русского Севера, Урала и Сибири. Память их сохранила для потомков загадочный Чувиль — Плесскую крепость-ловушку и местные предания о борьбе нежегородско-суздальских князей с московскими.

Загадки сборника не все разгаданы. Дальнейшая работа по их расшифровке продолжается. Она поможет приоткрыть еще одну страницу отечественной истории, которая сохранилась не только в летописях, но и в памяти народной.

Легко сказать: напиши о Елене Сапоговой... Увидела афишку — паршивенькую, на ней синими линиями буквами: «Русские народные песни и былины исполняет Елена Сапогова». Странно, не правда ли: исполняет былины! Прихожу в филармонию. В зале — как в нашем кашинском клубе (бывшей церкви) на киносеансе — заняты три первых ряда. Садись куда хочешь, филармония большая. Села на директорский ряд, на десятый, на бронированный — когда знаменитости. Объявляют. Выходит. Господи! Ну, во-первых, эти ее наряды а-ля рюс: красное платье, расшитое красным же; бусы — миллион рядов; на голове — кокошник. Ей, русской актрисе, нужны другие одежды. Одежды, а не этот ушедший из жизни, скомпрометированный оловянными телевизионными павами в кокошниках с блестками и теперь уже ставший пугалом огородным сарафан. Но это будет все потом, через годы — и мое понимание, и ее упрямство (переведуть в чем-то Сапогову непросто). А сейчас, в этом почти пустом зале она, трепеща, как осиновый лист, кланяется нам и улыбается какой-то заискивающей улыбкой, после которой уж никак не ждешь от нее того, что она с нами сделает.

Она закрывает глаза, прикладывает руку куда-то к уху и издает первое, протяжное, никогда мною не слышанное. Я не понимаю ни одного слова и не силюсь понять...

...Теперь я знаю песни Сапоговой наизусть, и могу выписать тот первый клич, который она направила в меня, и уложить его в доступные пониманию строчки:

Благослови, мати,
Весну выкликати,
Рано, рано
Весну выкликати.



ПРИ-ВОЛЬНЫЕ ПЕСНИ

Мария
ПИНАЕВА

Фото
Игоря Горячева

Но в том-то и дело, что меня не интересует конкретный смысл того, что льется в мою душу. Эта женщина — посланница моих прадедов, и я начинаю понимать: я ведь тоже оттуда!

Я потом уже: в душных трамваях — чьи-то липкие сетки с творогом и куриными ногами; в горемычном нашем комитете по телевидению и радиовещанию — специфика чаепитий с прогрессивными суждениями; в милой моей деревне Кашине — в половодье опять снесло плотик, и Егор Сергеич, с утра несильно пьяный, колотит новый — в каждое движение жизни мечтала я, как инъекцию, выпрыснуть слова той древней календарной песни: «Зароди, боже, жито густое, жито густое, колосистое». А тогда... просто целый вечер ревела — бесшумно, задавив дыхание, и плач этот вымывал из меня что-то, надутое невесть какими ветрами. Я осознавала себя русской.

Не помня себя, поцелась к Сапоговой за кулисы. Вот, говорят, надо семь раз отмерить, один — отрезать. Не всегда, не всегда... Если бы я тогда стала мерить — никогда потом бы не решилась.

В гримборной Сапогова сразу говорит мне, улыбаясь: «А я видела в зале ваше лицо». И я мучаюсь, по-

чему она так улыбается! Пойму это опять же после, когда пройдет время: трудно приспособиться ей к городскому политесу. Сапогова земная, деревенская. Хотя сама же любит говорить: «Я бабочка гордая!» — и «ч» выговаривает твердо, по-симбирски, и получается хоть и ириво, но жестко — такую не трожь.

Была у нее история с одной знаменитостью, специализирующейся по народной песне. Они познакомились на каком-то празднике искусств в Москве. Лена туда попала, видимо, по графе, в которой должны быть: а) народность, б) самобытность. В эту графу ставили, как правило, Уральский народный хор, издавна показателями этими отмеченный, а тут праздник, видно, был не чересчур масштабный, весь хор посылать накладно. Подвернулась единица — дешево и сердито, вот и послали. Знаменитость услышала Лену и призвала: «Будешь в моих концертах былину сказывать». Перстом с перстнем взмахнула: «Только былину! Песен не петь!». Поехала Сапогова в обозе у знаменитости по Руси великой. Та песни распевает, эта былину сказывает. Народ ушами хлопает — знаменитости рукоплещет, ну и Сапогову не гонит, раз со знаменитостью выступает — пусть себе. И вдруг в одном городе Сапоговой — овация! Сапогова

трепещет, петь хочется, а знаменитость за кулисами кулак показывает. Вот тут Сапогова и подстегнула себя: «Я женщина гордая! Артистка я или не артистка в конце-то концов!» — и ринулась на бис петь: «Сяду я за сто-ол да паду-умаюу, как на свете жить а-дино-кому...»

После этой истории знаменитость ей расчет дала.

Бог с ней, со знаменитостью... Другое беспокоит: мы петь перестали. Баба Дуня, Евдокия Логиновна Шабалина из деревни Кочневой, завлила как-то моему микрофону: «Что-то ни одной песни в радиве-то не слышать. Что там поют — так мы это песням-от не считам...». А знаменитость Сапогову учит: «Народную песню окультивировать надо». Но для меня авторитет — баба Дуня, от которой, кстати, и знаменитость ответвилась: деревенская ведь она родом, знаменитость-то. Только ветвями своими сразу от родных полей в дендрологические парки подалась. А баба Дуня сегодня для нас хранит вот это бескрайнее, полное тоски и приволья: «После-е-дний вонешний дене-ще-е-к гуля-а-ю с ва-ми я и да, друзья-а...»

Баба Дуня и все кочневские выступали в консерватории в тот день, когда в филармонии телевидение писало другую знаменитость — оцерную. Свердловская филармония свердловское телевидение вообще-то на порог не пускает, паркет бережет: камеры неповоротливые, скользят плохо. А тут пустили — по особому распоряжению. Сапогова про кочневских в последний момент узнала, через сарафанное радио, а у нее билет в филармонию. Наслушалась бабулек, нарвелась, насмеялась — и туда. А потом звонит мне: «Ну почему все так?! Стоит на сцене Вий. Понимаешь: Вий!!! Неподвижный и бездушный. Уж так мне захотелось крикнуть: «Люди, вы, может быть, просто не знаете, что вот сейчас на площади Пятого года, в маленьком зальчике консерватории баба Дуня поет. Там живое, кровное, там такая баба Дуня! Ова вам на несколько лет силушки даст».

А баба Дуня и в самом деле фигура. В крошечный класс общежитской комнаты, переоборудованный под кабинет народного творчества и уже одним своим видом разъясняющий, что все эти допотопные деревенские антимонии — не самое главное в жизни государственной консерватории, она вошла вроде бы робая, озираясь, однако что-то брякая на ухо своим спутникам веселое и смешное, потому что они в ответ незамедлительно тыкали ее в бок: «Прищемля язык-от». Баба Дуня прищемляла — так требовали правила актерского мастерства, — а через пять секунд, к явному удовольствию товаров, все повторялось сначала. Бабусям всем за семьдесят — их ждали гостиничные номера, а вечером концерт — тот самый, параллельный филармоническому. Но ни в какие номера они не собирались, они рады были, что уже куда-то причадили, что их потчуют чаем, они угнездились легко и прочно, как будто век собирались на посиделки с этими красивыми городскими девушками, которые делали трудную работу — «песням обучались».

Только в юности, в десятом классе, я хохотала так хорошо, как в компании с кочневскими. С восторгом. С детскостью. Не было тесно в груди. В комнатенке этой нам всем было привольно, как в поле.

Ульяна: Такие красавицы — ак поглядите хоть на нас.

Апполинарья: Ак мы когда-то были красавицы-те, ведь были, были!

Ульяна: Но! Хорошие-то шибко не были, но молоденьки-те мы были, были.

Корр: Вы на мою бабушку похожи. А сколько вам годов?

Ульяна: Переваляло восемьдесят, но мне еще рано собираться, еще поживу годов-от с десятком. А может,

развернусь — ак поболе (смех). Сейчас неохота умирать-то, вот я и не тороплюсь на тот свет.

Корр: Держитесь, значит, вы за свою деревню.

Ульяна: Мы держимся за свою Кочневу, крепко держимся, коренные мы, крепкие... Ну, подгнивают-же корни-те, вот не знам, как и выгуним, не испужаться бы да не разбежаться.

Корр: Ну смотрите, какие девочки молодые вам будут помогать, подпевать.

Дуня: Как они нам помогут-то, они ишпо не знают наши-те песни. Не слышно ведь ни в одном радиве наших-от песен.

Апполинарья: Здесь кому ты нужна. Ты иш вот шла дорогой-то, говорила: «Надо было сначала гробы заказать, потом ехать». (Хохот). Чё случится тут с тобой — знашь, сколь волокиты-то. (Хохот).

Дуня: Да, конечно, лучше в своем-от районе. Ак не одна же, поди, седу, всех за собой потяну.

Вера: Ну хватит болтать. Пойте давайте, девушки, на доброе здоровье, это к худому-то не приведет.

Береза бялая,
Бялая, кудрявая,
На вятру качалась...

Лукия: Голоса-то иш какне молодые, непорченные.

Дуня: Они нас забьют песням-от. У их не хрипит. Вот надо зайти в аптеку-то купить скрептоситу. Скрептосит, скрептосит — у кого чево болит (смех). Ум-от что у старого, то у малого. А ить был бы у нас ум-от — дак ить мы бы не поехали в Свердловск-от (смех).

Матрена: В Свердловск-от ладно, чтобы дальше еще не угнали (хохот).

Дуня: Нас уж может в Кочневу-ту шас не примут, скажут: как уехали — дак и болтайтесь там (хохот).

Корр: Вот потрясающе: жизнь у всех тяжелая на-верняка, а столько бодрости сохранили, веселья...

Дуня: Да как же не тяжелая — мы с мужьями-те жили только по семь годов, а тут война, да по трое детей осталось, и вот всю жисть в веселье живем.

Ульяна: На песнях-то только и тянемся.

Студентка: Вот нам у вас и этому учиться надо. А у нас какой-нибудь пустяк: кто не так слово сказал — мы уже мрачнее тучи, горе у нас. На ровном месте горе делаем.

Дуня: Тогда хлеб-от зарабивали — пригоршни мякны. Да вот придешь домой-то, да настряпаш лепешек, накормишь малых — и попеваешь песенки-те. Только в поле вперед едешь — не поешь, и из поля едешь — уж опять веселехонек, чё же: отробил день, опять трудодень заработал, радость-то! Ой, чё мы пережили — дак нас надо давно в телевизор-от провести.

После-едний нонешний дене-ще-е-к
Гуля-а-ю с ва-ми я и да, друзья-а.

...Сапогова не поет, как баба Дуня, как кочневские, как матушка Лены, Ольга Леонтьевна. Никто не поет, как они, и никогда не поет так, как они. Но без Сапоговой я бы не услышала бабу Дуню. Ее трагическая, современная трактовка народных песен (господи, слово это тут и вовсе не к месту, никакой трактовки), народная песня Елены Сапоговой — сила, способная растолкать, растормошить, заставить очнуться. Теперь спросите меня, кого я буду слушать, если выбор — бабу Дуню или Сапогову, — я, наверное, да простит мне Лена, побегу к бабе Дуне. А Сапогова, кстати, болезненно переживает это движение через себя, дальше, к истокам народного пения. Не понимает, что гордиться должна, если это движение состоялось.

...Несколько лет назад я пригласила Сапогову с

детьми в свое «поместье» — пятистенную избу с просвечивающими, доступными для комаров углами. Она поехала с восторгом. В душные земляничные полдни сосновый бор непривычно вздыхал от ее гукальных песен, берега и воды Кунары принимали бескрайнее «где живет моя милая — там привольна сторона». Вечером мы любили костер, сидели в телогрейках и белых платочках, лениво отмахивались от прибитости ночной прохладой комаров и в счастливой возможности беспроглядной, напоенной запахами ночи, несмелыми хлипкими притоками устремляли свои голоса в могучую реку сапоговского голоса:

Ходи-и к ма-атушке в гости,
Хо-оди-и к ма-атушке в гости,
Пока ма-ату-ушка жы-ыва...

Однажды мы устроили над обрывом Кунары — прямо посреди деревни — вечер русской народной песни. Эта вечерка возникла сама собой, объявления не вывешивали. Наташили лавки — главным образом из банок (в избах-то нынче «небель» стоит — не на улице таскать!), уселись по-домашнему — хоть и рядами, но вокруг одного стола, врытого прямо над крутым берегом, — и не заметили, как просидели до глубокой ночи. Песни Сапоговой растревожили, растравили, вызвали на состязание здешние песни — давно не петые, но, оказывается, еще не забытые. А за песнями — и не за ними даже, а как-то вместе с ними — потянулись разговоры. Не праздные, не пересуды.

Коптяева: У меня ведь много работы не сроблено осталось, а вот люблю общество — посидеть. Корову подоила, оставила и пошла — посижу, говорю, хоть с народом, с добрым-то, а то все одна да одна. Хоть на людей посмотрю да себя покажу, а то я уж три года, как в берлоге, тут сижу одна.

Боликова: У нас мама говорила, что луговые песни должны забыть. И правда — я их не слышу. Вот сколь слушаю радио — ни одну песню я не слыхала луговую.

Коптяева: А помнишь, был у нас сосед Меркулий Михайлович. Пел он вратяжку, как мой отец. В фуфайке все ходил, на фуфайке — передник. И вот я встану, бывало, на бревнышке, рот разину и слушаю, и плачу. Вроде как отцовский голос я услышала. Понимаете, к чему сказала?

Колегова: Ак как не понимать... Он, знаешь ли, возил в колхозе навоз. Рано вставал — едет и поет. Он пел хорошо — как будто бы несколько голосов, у него получается так.

Коптяева: У нас, знаешь, отец какую поговорку говорил все: «Не красна, говорит, изба углами, а красна пирогами». А вот пойдем мы шас в магазин, стоим, ругаемся — какие песни нам! Домой придешь расстроенный, разнервничанный, болеешь. А раньше ведь этого не было, раньше встретятся: здравствуй, Сидор Алексеевич, здравствуй, Евдокия Васильевна, здравствуйте, Иван Павлович, здравствуйте, Арина Ивановна. А сейчас: кто идет это? — Да черенаха Валька. Это кто идет? — Ну, Манька. Кто это идет? — Да это дрын-Данило. Нехорошо ведь, правда? Нехорошо.

Боликова: Вот какой был праздник — я была годов семи или восьми, хорошо помню: ребята и девки идут и если навстречу старичок или старушка... а носили бровные шапки в зимнее время, правда ведь?

— Ну, ну...

Боликова: И сейчас, как под команду, старичку — шапочку подымут, поклонятся.

Голоса: Ага, поклонятся, этта правда истинная.

Коптяева: Вот, а я иду этта, повертываю у Вали Феклушиной угла — идет парень и говорит: «Я из тебя

сейчас ливер сделаю». А ты можешь понять, что со мной было? Я... руки-ноги у меня задрожали, да спасибо Вите Колегову, он еще не в армии был, он и говорит: «Что ты, что ты, с ума сошел, это, говорит, Валерки Коптяева мать». Не помню, как дошла до магазина, и в магазине-то я народ увидела, начала рассказывать, что вот так-то и так. Все говорят: ой, так ведь это Анна Федосеевны сын, она в Прышановой-то продавцом робит. Нуко я это завтра поеду в Прышаново — так я ей объясню. А потом подумала: зачем это я буду ей объяснять, у меня у самой два сына. Не пошла ее расстраивать.

А сына мой, сына-а-а,
Сыня мой любви-и-имый,
А кто ж тебя, сына-а,
Между тре-ех любви-имей:
Аль тешша, аль жонка-а,
Аль родна-а-и ма-ати —

пела Сапогова... Песня падала с обрыва в Кунарку, в шум несерьезного с виду водопада.

Деревня Кашина в моей жизни — статья особая, постоянно и всюду присутствующая. Как детство, которое с человеком всю жизнь, до самого края. В детстве я в Кашине жила только однажды, в войну. Мать привезла меня с тяжелым инфильтратом легких, отвергла настояния врачей «поддувать» меня, закрыла уши на все злоешие предупреждения, сгребла в охапку и увезла. Я хорошо помню соседскую тележку на двух колесах. Да, собственно, и помнить не надо, у них и сейчас такая же — на этой тележке мать вывозила меня в сосняк. Помню бесконечные переодевания — я вымокала до нитки, особенно во время сна, помню питье из сосновых иголок, землянику и бруснику, и парное молоко, которые мать вливала, вталкивала в меня всеми правдами и неправдами. Мать «выцарапала» меня — это было любимое ее словечко с тех пор, как его прозвнесло легочное светило, которое выстукивало и выслушивало меня, и вертело на рентгене, не веря своим глазам. Любовь мамы к деревне была не с потолка, а тоже из детства, из ее детства. Мой дед, служащий екатеринбургской страховой компании «Якорь», купил на горе за рекой, у самого леса, дом и вывозил восьмерых архаровцев (моих дядек) в возрасте от пеленочного до гимназического и мою мать, единственную их сестру, на лето в деревню с целью укрепления здоровья и экономии обуви.

В юности, хотя на уме у меня был один волейбол и мальчики, я любила слушать кашинские истории матери. Чего стояла одна только история с садом, от которого и по сей день остались на нашей горе яблоневые и сиреневые думы да в акациях, более семидесяти лет никем не стриженных, бродит в ненастье соседский теленок... Мои дядьки чем-то прогневали отца, моего деда. И тот, уезжая на неделю в Екатеринбург, сказал: «Чтоб к следующему воскресенью на горе был сад». И поехал себе на лошадаках за сто верст. А дядьки мои, бедные, с шести утра до двух ночи возили землю и с реки песок! В воскресенье мой дед подкатил с бубенчиками к огромному, в два гектара, саду. Думаете, он ахал и охал, и гладил сыновей по головкам? Только мельком бросил: «Сделали? Ну и ладно».

Каждый год в начале отпуска — в начале новой эры, когда одним рейсом электрички рвется связь с загазованными улицами, с каменными лестницами, с телефонами, и ты, как бы кружась, медленно начинаешь оседать в деревенском быте, в моей семье начинаются беспредметные разговоры о том, что избу надо бы под-

ремонттировать. Но все равно нет денег, да если бы и были, никто не знает, где берут нынче рубероид и доски. Всем тут же становится ясно, что разговоры о ремонте переходят в планы будущего года, а я неизменно вспоминаю мать: «Наш дом никогда не рухнет, его тополя держат». Тополя те самые, из истории с садом... Могучие, родословные тополя... Лезу в голбец — и обязательно трону рукой их корни, они действительно обхватили мой дом и не дают ему упасть. Тополя держат дом, а меня во многом держит Кашина. Чем дальше проживаю жизнь, тем больше понимаю это. Где бы еще я видела закаты? В городе нет неба, есть дома до неба... Где слышала бы звук, рождающийся от соприкосновения дождевых капель с листьями?.. Где дышала бы запахом трав, где, раскинув руки, обнималась бы с ветром и где, в каких филармониях слышала бы я причеты Степаниды Емельяновны Батаковой, давшие работу уму и сердцу такую, какой я и не могла в себе предположить.

Голубошек да ты мой сизенькёй,
Лебедошек да ты мой беленькёй,
Ох, уж ты милая моя ладушка,
Свет-Семен же да ты Кормиловищ!
Оставляешь да мила ладушка
Что меня-то да мила ладушка
Со своим-то да малым детовькам.
Они малым-то еще малехоньки,
Они глупым-то еще глупехоньки.
Уж как седу да я на лавошкю,
Ак я скукую да по-кукушешью,
Ох, я сгорюю да по-горюшешью.
Ох, я котору да думу думати,
Ох, я котору роботу робити...
Ох, уж как седу да я на лавошкю,
Ох, посмотрю я да за окошешкё —
Ох, скрозь немецко да я стеколышко
Ох, не идет ли у меня мила ладушка,
Ох, что нейдет ли да он не катится,
Ох, свет-Семен да у меня Кормиловищ...

Степанида Емельяновна и Матрена Петровна Федотовских — кашинские подружки матери из детства — и теперь, когда матери нет, они мои «подружки». Была еще Мария Артемьевна Боликова да преставилась, да еще сидит где-то в далекой ячеей городской многоэтажки баба Василиса, мать одноногого матрениного соседа, семидесятипятилетнего Данилы Степановича. Бабе Василисе девяносто семь годов, и пагрешила она, как сама говорит, много, бог не берет ее и не слышит будто, что давно уже просится она в другой мир — не рада своей беспомощности.

Каждое новое лето Степанида и Матрена встречают меня в Кашине памятью о матери. «А что, Марей, ноне ведь Лизавете-то Димитревне будет уж поди-ко девятый годок...» Это не праздные разговоры, не долг вежливо-сти даже — это действительно память, которая всегда потрясаете точно.

Вот так оно идет и идет, и вяжется, вяжется... Это уже не мои слова — сапоговские, а мне кажется, что они и мои тоже... Как-то Лена в интервью, которое я брала у нее для молодежной газеты, сказала: «Наши неграмотные бабушки — откуда у них это было? — «Будь здорова, как вода, будь богата, как земля, будь красна, как весна». Сравнения-то вселенские. Вселенские! У колыбели мама мне пела: «Голубеньки глазки делали салазки, сели да поехали — к дедушке заехали. — Чего, деде, делаешь? — Ступу да лопату, корову гурбату. Корова-то с кошку — надоила с ложку. Пора бабушке вставать — курам зернышки давать. Куры улетели — на сосенку сели...» — и оно идет, и идет, и вя-

жется, вяжется. До сих пор помню эти «голубеньки глазки». Ребенок еще не разговаривает, а его уже воспитывают.

...Колыбельные моего детства — забавная самодеятельность матери, завлащенная на какой-то очень приблизительной народности — в смысле текстов, — и в то же время очень верной — в смысле сути, в смысле жалости к дитю, в смысле угадывания, что не столько погремучки нужны ему в колыбели, сколько импульсы живой души. Я глотала эту смесь, любя и не любя ее. Меня очень обижала, например, такая самодеятельность: «Баю-бай, баю-бай, пошла киса под сарай, под сараем Маша спит, кисе незачем ходить». Было жаль себя: почему же я под сараем? И обидно: с какой стати кисе незачем ходить, с кисой все-таки под сараем не так одиноко. Уж и большая была — во втором, может быть, в третьем классе, всегда засыпала под сочинительства матери.

Сапогова переживает: «Сашка мой, когда был маленький, в колясочке, я ему пела «Как по морю». И вот смотрит, смотрит он на меня — слезки у него польются, тихонько так слушает и плачет. А сейчас приходит из школы: «Во, как там было барско! Адидас!» — здорово, значит, хорошо, весело! Меня всю коробит...» Зря переживает, куда ее Сашка от колыбельных ее не денется. И уж, конечно, плутать в этой жизни будет меньше, чем я, потому что культуру народа своего впитывал с молоком матери. А надежнее ее для души человеческого нет ничего.

У Сапоговой нет стиральной машины. И боже упаси, — никаких прачечных! Только на руках! И пододеяльники — на руках! Пойдет Сапогова на речку... Речка наша Кунарка хоть и невеликая, а держится, изо всех силенок сопротивляется промышленному окружению и наездам марсиан на «Жигулях» и мотоциклах, из которых щедро запускают в нее и сети, и стиральные порошки, и бутылки, и консервные банки. Но, повторяю, держится как-то Кунарка, еще и рыба не вся вышла, и вода на воду похожа... Пойдет Сапогова на речку, зачерпнет водицы в таз, взобьет мыльную пену, зайдет так песней, что насмерть перепугает наших трех-четырех чаечек, тоже каким-то чудом каждое лето упрямо возникающих над водой, и начнет шустро и радостно двигать в пене руками.

Возле багюшкыных во-о-рот да
Стаить озёро-о ва-ады да-а.
Ох — и лен-ы ты мой, лены,
Лен кудрявый-и зыля-а-но-о-о-о-й... —

плывет, влетается в зной, в жужжанье, в журчанье, в дунование, в порохи... Я сижу прямо посредине речки на быстринке. В этом месте, ежели сядешь, вода у берегов поднимается. Я сижу в Кунарке — как в тазу, как в корыте, пескари тычутся в мои ноги, я полощу прямо в «водопаде», который перекачивается через мои колени. Для меня всегда Родина — вот это. Именно это. Не вся Кашина, а даже не дом мой на горе под дялькинскими тополями, а именно эта быстринка, и именно когда я в ней, и обязательно жарко, и вода омывает меня. А тут еще Сапогова на берегу со своими песнями. Не захочешь да рассироишься: разве можно одному человеку столько счастья!..

Можно бесконечно долго продолжать эти очерки. Вспомнить, как Сапогову, не знавшую нотной грамоты (да что грамоты — нотной тетради в глаза не выдавшей), приняли в Саратовскую консерваторию; как иступленно училась она, ви на один шаг, ви на один зачет не отставая от однокурсников, которые пришли после музы-

кальных десятилеток; как приработывала к стипендии уборщицей в похоронном бюро; как бегала к бабе Дусе, Евдокии Ивановне Петровой, консерваторской вахтерше.

Баба Дуся любила и жалела всех студентов, но с Сапоговой у нее отношения были особенные. Думаю, что сердцем она безошибочно определила назначение Сапоговой в истории русской культуры и любила ее преданно и нежно, берегла и поддерживала, как умела. Мы ездили с Леной в Саратов четыре года назад, застали еще бабу Дусю, и я, записывая на магнитофон в покосившемся флигельке какого-то заброшенного саратовского дворика ее прибауточки, думала о силе духа русского человека. Той самой, которая помогает держаться на высоте по отношению к жизни — с ее суетностью, неурядицами, горестями. На самых последних рубежах жизни баба Дуся была, как пишут в газетах, полна жизнестойкости и оптимизма.

Баба Дуся: Эх, я бывало припевала, припевать хотелось, а теперь что такое? — куда чево делось. М-м-м! Певица была — красная девица, а теперь все забыла. Вот сижу одна и разговариваю: Дуня, давай спать ложиться, давай чайку поьем и ложись спать, времени уже много. Покажу тебе, Лена, какую палочку мне студенты подарили, ноги подпирать. Это ведь я молодая была бегала — хоть бы что. А теперь все — отживаю золотые денечки. (Смеется.) Зинка оставила два театральных платя, одно — блескунее. Физкультурой занимаюсь теперь. Одна тут работает лотошница, тоже фронтовичка, тоже была на Белорусском — и вот мы с ней развиваем физкультуру и спорт.

...В Саратов ехали — в поезде познакомилась с женщинами. Одна из казачьей станицы, другая уральская, из Пермской области. Сапогова пела им двое суток. Женщины ревели, а из соседнего купе стучали в стенку: прекратите безобразие. Та, что из казачьей станицы, от избытка чувств продала Сапоговой козий пух по дешевке. Сапогова всю семью обвязала и сама по сей день в козих варежках ходит. Вообще, надо признаться, одевается она согласно неоднозначности своего характера: то на сцену выкатит в купеческой душегрейке, золотом расшитой так обильно, что глаза потупить хочется. То по городу вышагивает в подшитых валенках с кожаными заплатками, в шапке-ушанке. Приходит и сообщает радостно: «Меня, как Софью Лорен, в троллейбусе узнают. Это про вас, говорят, кино «Колыбельная с куклой» показывали?» Или: «А меня на «Волге» к вам привезли. Опять опознали».

Документальный фильм «Колыбельная с куклой», снятый на свердловском телевидении, и в самом деле, похоже, сократил путь Сапоговой к своей аудитории.

...Как-то я поехала с бригадой филармонии — в ней была и Сапогова — в реву по школам Свердловска: в одной с 10 до 11, в другой — с 11.30 до 12.30, в третьей — с 13.00 до 14.00 часов и т. д.

Сапогова, как опытная десантница, высадившись в первой школе, должна была: 1) быстренько, как царевна-лягушка, скинуть шубку и валенки, облачиться в концертное платье (можно сказать, прямо при детях — пионервожатая служила ширмой, держа какую-то тряпку); 2) быстренько разжечь любовь к русской культуре в заведомо перекосенных от скуки учителях и ходящих на головах учениках; 3) быстренько снова переодеться и быстренько передислоцироваться в следующую школу, где боевое задание требовалось повторить сначала. Как-то получаю письмо из Черми: «Я в отчаянии. Приехала — а здесь и знать не знают, кто я и что делаю. Пыталась объяснить — слушать не хотят, говорят: площадки уже мне подготовлены. Вчера выступала в общежитии. Пять человек. Сидят в бигудях. Две женщины пьяные, с ребятишками: матери-одиночки»...



Фильм вышел на телевизионный экран, и осенью 85-го года имя Елены Сапоговой стали набирать в газетных типографиях. И в нашей, и в московских. «О ней заговорили» — такое, кажется, существует устойчивое словосочетание. А на телевидение пошли письма. От тех, кому Сапогова нужна, от тех, кто нужен Сапоговой. «Вы делаете Великое дело (великое с большой буквы, так и написано. — М. П.). Верьте мне. Вы сетуете, что Вы — скоморох. Это же прекрасно! Не пытайтесь соревноваться с современными ритмами. Это недостойно той высокой миссии, которую Вы несете. Ваше искусство наполняет душу чувством за Русь Великую. Учите дочь своим песням.

С глубоким уважением В. Морозова,
г. Одесса».

«Такие люди, как Вы, помогали русскому человеку сохранить свое национальное достоинство еще во времена монгольского ига. Не дали офранцузиться и онемечиться в середине XVIII века и позже. Теперь бы вот не обамериканизиться. Я присоединяю свой голос к Вашему (не на сцене, конечно, я инженер морского флота, а в жизни). Приезжайте к нам в Севастополь, я сама разнесу Ваши афиши во все концы, соберу зрителей — на работе, соседей.

С огромным уважением А. Кубкина».

«Уважаемые товарищи, передайте Елене Сапоговой, что мы, в недалеком прошлом городские жители, а ныне сельские, нигде никогда не изучавшие русскую музыкальную грамоту, в общем, самые обыкновенные, средние телезрители, ошеломлены ее пением. Передайте ей: пусть всю свою духовную и душевную энергию отдает песне, пусть меньше переживает при виде полупустых залов. Придет время, и на ее концерт и билета не достанет. Передайте Елене Сапоговой, что мы купили бы ее пластинку на черном рынке по самой бешеной цене (у спекулянтов, оказывается, тоже не всегда нос по ветру). Передайте ей, что никакая она не заслуженная артистка — она Народная, да не республики, а всей страны! Пусть бережет себя — скажите — не простужается.

Суворовы, Приморский край, Терней».

...12 декабря, в день сольного концерта Елены Сапоговой, зал свердловской филармонии был переполнен. И директорский ряд, бронированный, когда знаменитости, — тоже. И студия в проходах...

Сам по себе этот факт — «зал переполнен» — находится вне однозначных эмоциональных оценок. Бывают переполнены не только филармонические залы — целые стадионы, но часто от этой переполненности плакать хочется. Я не буду здесь говорить о чем-то конкретном, дабы не столкнуться с привычным «о вкусах не спорят». Убеждена, что в наиболее выразительных ситуациях это не вопросы вкуса, а вопросы состояния духа. Когда поет Лена, в концертный зал приходят люди, готовые потрудиться душой. Я не смогла быть на концерте 12 декабря, но в тот вечер и на следующий день звонили друзья, так что беру на себя смелость утверждать: я все-таки была на концерте. Видела роаяль, усыпанный цветами, и маленькую Василису на сцене рядом с матерью, и с букетиком — Ивана Даниловича Самойлова, в своей Нижней Синячихе созданного такой музей, что теперь нам трудно усомниться в живучести богатырей русских. Видела саму Сапогову — в темно-красном, цвета запекшейся крови платье, раскинувшую рукава-крылья, и они — то ли прощальный взмах, то ли укрытие от бед и напастей. Все теперь у нее в ладу — с ней самой, с ее делом, с народной песней, на борьбу за которую она вышла — и это платье, и эти слова из Даниила Загочника, которые она говорит в зал безо всякой патетики, тихо, но так, что холодно становится в груди: «Востру-бим бо братие аки в златокované трубы в разум ума своего и начнем бити в серебряные органы во известие мудрости и ударим в бубны ума своего поюще в богодохновенные свирели. Да восплачутся в нас душеполезные помыслы!»

В зале было много молодежи, можно даже сказать: главным образом в зале собралась молодежь. Мне сказала дочь, что ее сокурсница, студентка горного института, заявила, будто они решили выбросить в своем общежитии все магнитофоны. Конечно, это крайность, ситуационный порыв, но и в самом деле хочется после всех этих привольных песен — при-вольных, они при воле-вольной, а воля-вольная — это душа наша, — хочется задвинуть в угол звуковоспроизводящие машины и прислушаться к себе: а просится ли твоя душа на волю или болтается она на веревочке, за которую дергает ее то бит, то рок, то какой-нибудь новоявленный бард.

Одна восемнадцатилетняя деревенская девочка — назовем ее Н. — прислала отклик на фильм «Колыбельная с куклой»: «Мы что, теперь должны русские народные песни слушать, под которые скука набивается?» Эту девочку искренне жаль, как жаль ребенка, заблудившегося в лесу. Найдет ли она дорогу к родному дому?..

В последние годы моего прозрения — я ведь тоже в числе «разбуженных» и потому готовых для духовной работы — меня не покидает чувство медленного, но неуклонного, упрямого движения. Пришло в движение нечто глубинное, нас объединяют уже не только сиюминутные радости и огорчения... Мы углубляемся в себя, наступает эра самосознания. Когда личность готова взять на себя этот тяжкий труд — это значит, что народ как целое вышел на новые рубежи. Мы уходим в себя и там, в собственных глубинах, находим свое прошлое, пласты древней культуры. Народ остается народом, как личность остается личностью, лишь до тех пор, пока сохраняет память.

Мы не теряли памяти, даже если иногда кому-то из нас казалось, будто без нее вполне можно обойтись. Мы никогда не теряли памяти. В перечне подтверждающих тому — интерес к личности Елены Сапоговой.

вернее, не интерес, больше: готовность идти вместе с ней.

Сейчас не смогу и вспомнить точно, как сходились наши пути с тепловцами. Мне слово это нравится — тепловцы, короткое и сердечное. А вообще-то они называются очень длинно: клуб политической песни «Варшавянка» Дворца культуры Уралмашзавода.

Володе Теплому сейчас тридцать. Дочке Жене шесть, сыну Ване — три года. Сапогова как-то: «Была сейчас у Тепловых — ну, это надо видеть! Володя что-то мастерица, а Ваня — это в три-то года! — помогает. Гвозди, молоток, пилки какие-то — весь инструмент у них общий».

...Их соединила песня. Отыскала в суете современных ритмов их голоса, выпеваящие песни родной земли, привела друг к другу и соединила. Не забыть мне новогоднюю ночь, когда встречали 85-й. Собрались у Сапоговой. Типовая ее квартирка на 9-м этаже уралмашевского небоскреба словно раздвинула свои пределы: тепловцы явились в полном составе. Это человек двадцать. Потомство, принесенное на руках и привезенное в колясках, галдело и пугалось под ногами, беспрепятственно завладело самодельными трешотками, гусями, бубнами, стоял невообразимый гвалт и одновременно с ним вошло в квартиру и тихо стояло где-то неслыханное и невиданное мною прежде умиротворение. Как мы пели в ту ночь! Да, я гордо пишу «мы», потому что теперь уже знаю кое-какие народные песни, а дома, когда одна, блажу на всю квартиру, пугая бедных соседей. В общем же хоре научилась тихонько, с краешку приставлять свой голос, чтобы он не помешал, никуда не вылез, а жил в песне вместе со всеми.

За два часа до Нового года мы ходили ряжеными по квартирам — колядовали. По-разному было: кто-то не открывал, и мы слышали настороженное дыхание и чувствовали испуганность и подозрительность в дверном глазке. А кто-то все готов был со стола стрести по старинному русскому обычаю в наши сумы — за песню! В одном доме хозяйка от избытка чувств зывала, пытаясь прорваться сквозь плясового «Гусарика»: «У нас кролик! У нас кролик жареный! Угошайтесь, товарищи! Спасибо вам! Нам так радостно с вами! Вот вам торт, это вам на Новый год, к чаю! Будьте счастливы! Нам так радостно!» И Сапогова сказала как дитя:

А коты новые купила,
Не сама деньги платила...
Заплатили за коты
Веселые да ребята...
А вы носитесь, коты,
Разбивайтесь, каблукки...

Мы вернулись в дом Сапоговой за 10 минут до Нового года. Включили телевизор. И когда появился диктор: «Поздравляем с Новым годом героический рабочий класс, колхозное крестьянство, народную интеллигенцию», Женя Лохтин встал и сказал новогодний тост: «Мы с вами живем в крупном городе, где постоянно не хватает свежего воздуха. Так вот я хочу, чтобы то, что мы имеем сегодня — вот больше было бы такого свежего воздуха в новом году, в последующие годы».

Звуки гимна возвестили о том, что на землю вступает новый год, и в квартире Сапоговой, раздвигая толки и степы, зазвучала уральская «Дуброва»:

Ой, не шуми ты в поле, не шуми,
Матушка наша дубровушка...

* * *

В одном из октябрьских номеров «Советская Россия» сообщила, что Елене Андреевне Сапоговой присвоено звание народной артистки РСФСР. Суворовы-то из Приморского края — как в воду глядели...



ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ



Валерий ПРОСКУРИН

Последний раз я был в мастерской Евгения Николаевича Широкова несколько лет назад. Тогда ему исполнилось пятьдесят. Наградили орденом «Знак Почета». Еще не улеглись впечатления от большой персональной выставки художника. Шел к нему не без робости: еще бы — такой авторитет! Вопреки ожиданиям, все оказалось просто. Помню, как Евгений Николаевич с азартом нажимал на педали тренажера, поглядывая на счетчик: сколько километров намотал? На мой недоуменный вопрос ответил коротко: «Художник должен быть всегда в форме»...

И сейчас показалось, что все в мастерской на своих местах, как и прежде. И удививший тренажер — здесь же.

Все то же в мастерской, да не то. Сколько, даже за этот короткий промежуток времени, наработано! Вот и на мольберте — только что законченный портрет актера Вячеслава Тихонова. Выкроилась небольшая передышка в работе — можно поговорить. Тем более, что повод для беседы самый подходящий. Евгению Николаевичу Широкову недавно присвоено почетное звание «Народный художник СССР».

Широков: В детстве я мечтал стать художником. Хотя, что такое стать художником, для меня, конечно, было тогда не очень ясным. Как раз в ту пору я увидел репродукции картин Василия Перова. Больше всего меня тронула «Тройка». Дети, изможденные, тащат в гору бочку с водой. Собачонка бежит. Как-то все это близко было. Ведь военная пора. Несладко жилось. Мы были такими же пацанами, так же возили воду зимой из проруби.

Рисовал много. Меня тянуло к изображению человека. Любил рисовать с натуры. Множество рисунков осталось, когда рисовал спящего отца. Полчаса-час можно было рисовать. Я стремился добиться сходства. В этом и заключалось высшее проявление моих возможностей в ту пору.

Я работал слесарем-чеканщиком. Рисовал старичков почтенных, у которых учился ремеслу. Были они бородачьи, ходили в старинных картузах. Один из них, Кочергин, отдаленно напоминал микельанджеловского Моисея. Первыми героями моих изобразительных проб были прежде всего люди, основательно поработавшие.

Я не думал, что придется заниматься всю жизнь портретом, но тяга изначальная была.

Как давно это было...

Затерявшийся в горах уральский поселок Касли. Небольшой, но известный всему миру завод литейный, где работал подростком. Правда, тогда, в войну, пришлось делать не фигурки из чугуна, а снаряды для фронта. Рано мужали мальчишки. Приучались (и на всю жизнь!) к серьезному, настоящему труду. Душа детская жаждала прекрасного. Поэтому поистине драгоценным был простенький по тем временам журнал «Юный художник», открывший будущему художнику большой мир искус-

ства... Хотелось стать скульптором. Это и понятно. Для мальчишки, работавшего среди мастеров литейного дела, выше не было мечты.

Уже после войны поступил в Свердловское художественное училище, окончил с отличием. Потом — Ленинград, знаменитая «Мухинка» — высшее училище, выпустившее из своих стен многих известных художников.

Дипломная работа Широкова — панно «Октябрь, 1917 год» — предназначалась для оформления Музея революции в городе на Неве.

В Перми, куда приехал по распределению, молодой художник не засиживался в мастерской. Впрочем, и мастерской-то сначала не было. Работал в классе хореографического училища. Работы хватало. Это и оформление курорта «Усть-Качка», и Дворца культуры имени Я. М. Свердлова в Перми, дворцов и клубов в городах и поселках области. Но интересы художника не ограничивались только монументальной живописью. Привлекала и станковая. Одна из главных тем его картин вызревала долго. Может быть, «жила» в душе с детства.

Широков: Да, это некоторые отголоски, которые с детства жили в душе. Память детская — она особая, цепкая. Ею навеяна картина «Хлеб — фронту».

Тема Великой Отечественной войны стала постоянной для художника. Вот и в год 40-летия Победы Евгений Николаевич написал два полотна — «На улице Береговой», «И помнит мир спасенный». Последняя картина показывалась на выставках не только у нас в стране, но и за рубежом. Сюжет ее вроде бы прост: солдаты восстанавливают пограничный столб с буквами «СССР». Военный эпизод. Но художник придал ему символическое значение. История возложила на плечи простых солдат судьбу Родины, они с честью выполнили свой долг.

Любопытно, что первоотчетчиком замысла картины послужили кадры телевизионного фильма. И название-то его забылось. Но именно он замкнул сложную цепь творческого процесса. Конечно, в работе над картиной художник использовал весь свой опыт. И литературу о войне. Да и просто устные рассказы фронтовиков.

В своем творчестве Евгений Николаевич Широков обращается к истокам биографии советского народа, победившего в войне с фашизмом, к началу великого перелома, связанного с именем Владимира Ильича Ленина. Воплощение его образа требует особой, высшей ответственности. Сейчас Ленинина Широкова включает несколько десятков картин, в лучших из которых художнику удалось избежать «хрестоматийного глянца», сказать свое слово о Ленине. Историко-революционные полотна художника написаны с эпическим размахом и стали заметным явлением в современной советской живописи.

И все-таки портрет главенствует в работе художника.

Широков: Портрет — это постижение человека художественными средствами. Я художник-реалист и исповедую реалистические принципы. Возможности реалистического искусства неисчерпаемы. Мы даже порой их недооцениваем. Что может быть благодатнее для художника, чем глубинное постижение человеческой сущности!..

Художник чаще всего пишет людей, которых, как он признался, «знает и любит за каждодневный подвиг служения искусству». Это прежде всего актеры, писатели, художники. Люди, вбирающие в себя сокровенные мысли и чувства нашего современника. «Душа и дело» — вот пароль, на который откликается его чуткая кисть.

Писатель Виктор Астафьев (его портрет работы Широкова находится в коллекции Третьяковской галереи) дружески напутствовал Широкова в автографе на своей книге: «Пусть твою кисть никогда не покинет мужество».

Это качество особенно ценит художник у своих героев, бывших фронтовиков: у самого Астафьева, у поэтессы Юлии Друниной, у художника Евгения Гудина, у артистов цирка Юрия Никулина и Михаила Шуйдина, у актера Иннокентия Смоктуновского. И сам художник заряжается их способностью к преодолению на нелегком пути познания человека.

Художник стремится не повторять даже удачно найденные решения. Он ищет новые.

После целой серии разнохарактерных портретов актеров Широков «вдруг» написал портрет Евгения Лебедева в роли Холстомера в спектакле «История лошади», поставленном по повести Л. Толстого в Ленинградском Большом драматическом театре режиссером Георгием Товстоноговым. Конечно, не вдруг. К этому времени были уже написаны портреты замечательных артистов театра, который покорила художника еще в студенческие годы. Портреты Ефима Копеляна, Георгия Товстоногова, Кирилла Лаврова. Но все-таки это было неожиданно.

Евгений Лебедев в одном из интервью признался, что

работа над спектаклем была трудной, мучительной. Так же трудно пришлось, наверное, и художнику. Об этом свидетельствует хотя бы то, что он написал не один, а три варианта портрета.

Широков: Впервые в моей творческой практике я создал образ актера в конкретной роли. Увидев спектакль, почувствовал, что не могу не попробовать написать в роли Холстомера этого большого актера. Спектакль, и прежде всего спектакль, рождал замысел портрета. Не прикоснуться к этому чуду — было бы творчески спасовать. Работа была чрезвычайно интересной. Она меня захватила..

Конечно, художнику пришлось заново перечитать повесть. Наверное, особенное внимание он обратил на описание смерти Холстомера. Именно этот момент «схвачен» в портрете: «Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни.. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок...»

Пожалуй, Широков впервые использовал такой глубокий «подтекст», нащупал малозведанные возможности портрета. Но не остановился, а пошел дальше. Близится к завершению работа над портретом Иннокентия Смоктуновского. 60-летний актер облачен в костюм Гамлета. Снова — непредвиденный, парадоксальный «ход», ведь эту роль актер сыграл более двадцати лет назад.

Широков: Мне не единожды задавали вопрос: почему долго не писал автопортреты? Это непросто. Ведь автопортрет — это попытка увидеть себя со стороны. Отрешенность какая-то необходима. И потом — должно прийти время для создания автопортрета. У каждого художника свой срок..

Можно сказать, что многие портреты художника «автопортретны», являются своеобразной исповедью не только данного, конкретного человека, но и самого художника. Одним из таких «исповедальных» портретов (он приобретен Третьяковской галереей) стал и недавно написанный, второй по счету, портрет Людмилы Чурсиной. Как они несхожи, два портрета известной актрисы! Кажется даже, что написаны разными художниками. Нет, конечно. Просто Широков, мне кажется, часто идет по линии сопротивления устоявшимся вкусам и пристрастиям. Но вместе с тем стремится, чтобы зрители понимали его.

Широков: Почти всегда заканчиваю работу с чувством неудовлетворенности. Это, видимо, естественное чувство. Потому что замысел всегда значительнее результата. Работа не кончается после подписи художника. После этого жизнь холста только начинается. Продолжается на выставке. Художник встречается со зрителями, беседует с ними, приоткрывает свою творческую «кухню». И в следующий раз зрители более внимательно, с большей проникновенностью, уважением отнесутся к труду художника.

Недавно в Перми была внеочередная, персональная выставка Евгения Николаевича Широкова. Первая — в ранге народного художника СССР. Как и предыдущие его выставки, она вызвала большой интерес. Ибо все его полотна — о высоком предназначении человека, о величии и торжестве человеческого духа.



ЕВГЕНИЙ ЛЕБЕДЕВ В РОЛИ ХОЛСТОМЕРА. Е. Широков.

АВТОПОРТРЕТ. Е. Широков.



НА УЛИЦЕ БЕРЕГОВОЙ. Е. Широков



АРТИСТЫ ЦИРКА ЮРИЙ НИКУЛИН И МИХАИЛ ШУЙДИН.
Е. Широков.



ДЕНЬ СВЕРШЕНИЙ

Виктор ЖИЛИН
Рисунки Яны Ашмариной



Повесть

Повесть «День свершений» — первая крупная публикация Виктора Жилина и, по всей видимости, последняя. Следующую свою повесть он закончить не успел. Торопился, зная, что его ожидает, работал жадно, много — и не успел.

Всегда горько, если из жизни уходит молодой, полный оптимизма, душевных сил сорокалетний человек. Много горше, если это человек талантливый. Виктор Жилин был талантлив. Он был талантлив по восходящей, он последовательно набирал и уже набрал силу. Он был на взлете.

Он преданно любил фантастику, знал обо всем и все в этом прекрасном и увлекательном мире будущего, прошлого, настоящего. Он не был гостем, заглянувшим на минуточку в этот мир. Он был своим.

Его любили, к нему тянулись. Он умел так искренне радоваться успехам других. Его любили друзья, его любили все, с кем довелось ему общаться по службе, и те коллеги-фантасты, с которыми он сошелся на Всесоюзном семинаре в Малеевке, а потом вел оживленную, увлеченную переписку — Москва, Волгоград, Душанбе, Ростов, Саратов... Его любили коллеги-фантасты по ленинградскому семинару, старостой которого он был. Его любили.

До последнего дня многие его друзья не знали, что это его последние дни. До последнего дня он работал, работал, работал, работал.

Он ушел молодым. Он оставил после себя любящих и помнящих, и фантастику, которой отдал лучшее в себе, и эту повесть, которая оказалась последней.

Борис СТРУГАЦКИЙ

ТРОИЦА

Эти ребята вынырнули со стороны пустыря и двигали точнехонько к проему. Резво двигали. Если бы не Джуро, мой напарник, я бы их наверняка проморгал ну и схлопотал бы от Ялмара. Не впервой, конечно, но радости, сами понимаете, мало — рука у гада тяжелая. В общем, спасибо Джуро, он хоть и дрыхнул все утро, пригревшись тут же, на кровле, но вдруг его будто укололо. Глаза продрал, морда в ржавчине, башкой туда-сюда: «А это что за типы?..»

Крыша старого цеха — самое высокое место в округе, тут всегда дозорный пост. Весь Комбинат как на ладони: развалина на развалине, глядеть тошно. От зданий одни скелеты; кругом кирпич битый, бетон, скрученная арматура, мусор, дрянь всякая — попробуй там что отрой! А вот старьевщики как-то ухитряются.

Сразу за оградой — бетонные чаши отстойников, залитые какой-то окаменевшей гадостью, за ними до самых гор — сизая гниль золоотвала, вся в мелких трещинах, будто сеть черная сверху заброшена. Негде здесь укрыться, хоть ты лопни. Как я их проморгал — ума не приложу! Ну словно из-под земли, как демоны! Сгоряча я даже на мнимонов погрешил, может, думаю, ранние пташки? Глянул вверх — оранжевый час идет, какие, к чертям, мнимоны?!

Потом-то я допер. Не иначе как по каналу они пробрались, что к отстойникам подходит, больше неоткуда. А это, я вам скажу, суметь надо — там в два счета костыли обломаешь и поминай, как звали!

В общем, шустрые ребята. Но какого дьявола они сюда поперлись? На старьевщиков вроде не похожи — ни повозки, ни тачки, да и одежонка не та, чистая больно. Зрение у меня — что надо, но сколько ни пялился, оружия не разглядел. Может, у них что и есть, только не то здесь место, чтобы пушки свои прятать. Чуть зазевался —

и амба! Это вам не столица! Тут как родился, сразу палец на спусковой крючок и гляди в оба. Одно слово — Зенит! Катакомбы, шахты, городишек брошенных — пропасть. Опять же, горы в двух шагах. Ну, а население известно какое: вся рвань под семью сферами сюда стекается.

Раньше, говорят, в наци края кругачи навывались, порядок, значит, наводить. Вроде считается, что все Призенитье запретно для поселений — фон, мол, какой-то. Смех и грех. Чуть что, весь сброд — в катакомбы, как крысы, и никакими силами их оттуда не выковыряешь: там целый подземный город. Теперь не суются. Я тут полгода, ни одного кругача в глаза не видел — не до нас им теперь. Правда, Пузырь божился, что вчера их конный патруль встретил, но Пузырь есть Пузырь, ему и не такое мерещится, который месяц не просыхает...

А эти трое шпарят себе открыто, среди бела дня, словно по проспекту, и напрямик к нам. Это, значит, к Ялмару в лапы, ну а кто он такой — всем известно. И чем это пахнет — тоже.

— Психи, что ли? — ворчит тут Джуро и бинокль достает. Единственный на всю ватагу, его только дозорным и доверяют. Долго крутил, настраивался, биноклик-то дрянненький. Вдруг, смотрю, замер, в окуляры вдавился.

— Постой, постой, — сипит. — А ведь там — девка! Чтoб мне сдохнуть — девка! Ну-ка, Стэн, глянь...

И бинокль бесценный мне сует. Я, конечно, не поверил. Джуро у нас малость того, чокнутый он на этой почве, всюду ему бабы мерещатся. Откуда им здесь взяться? Старухи древние, всякие там колдуньи, знахарки, гадалки — эти да, встречаются. А женщин молодых сроду не бывало, если какая и заводится, то спаси и помилуй, не было и не надо!

Навел я фокус. Эти трое вот-вот к пролому подойдут. Гуськом топают, торопятся. Первый — здоровенный дядя, аж квадратный весь, в бинокль не влезает, честное слово. Грудь колесом, за плечами рюкзачок — нас с Джуро запихать можно, еще место останется. Одет чудно, не по-здешнему. Куртка широченная, под стать мешку, шаровары, высокие ботинки — то ли армейские, то ли нет — не поймешь; на башке какая-то дикая шапочка, вроде петушиного гребня — красная. Где только выкопал?..

Следом белобрысый паренек топает вразвалочку, башкой все крутит — любопытный, значит. Также с рюкзаком, но поменьше. Раз в пять. Молодой, может, чуть постарше меня, чистенький такой, упитанный — явно не из наших.

Двинул я бинокль левее — чуть не выронил, даже окуляры вспотели. Святая сфера, Джуре-

то не привиделось! Третьей действительно шла девица — и какая!.. Даже в мутные стекла видать: эта из настоящих! Что надо девица, ничего подобного здесь не было и быть не может. Сразу видно: или из столицы, или с горных ферм, что за Седловиной, там, по слухам, еще сохранились семейные кланы... Высокая, прямая, русые волосы до плеч. На голове ничего нет, так и идет простоволосая. И — хотите верьте, хотите нет — в штанах! Натурально в мужских штанах, я потому и не разглядел сразу. Да еще куртка балахоном до пояса, поди различи!

Тут Джуро у меня бинокль выхватывает и по шее — это чтoб не зевал больше.

— Дуй к Ялмару, — рычит. — Чтoб одна нога здесь, другая там!

А у самого морда, как у пса голодного, вот-вот слюни пустит. Так бы и врезал, право слово!

Шагнул я к люку, деваться-то некуда. По правде говоря, меня это не касалось. Если тем остолопам жить надоело, черт с ними, туда и дорога. Но девицу-то зачем с собой таскать, заговоренная она у них, что ли?!

— Стой! — шипит Джуро в спину. — Тут останешься. Глаз с них не спускай! И смотри у меня, сучья кость!..

Сверкнул глазищами бешеными и вниз. Ружьишко и бинокль, конечно, с собой прихватил — не доверяет, гнида. Все старики в ватаге мне не доверяют: чувствуют, конечно. Как волка ни корми...

Ну, вернулся я на пост у трубы — что оставалось делать?! Эти чокнутые уже пролом миновали, по территории двигают. Ну, чего, спрашивается, они тут потеряли? Ведь каждому идиоту известно, Комбинат с окрестностями — за ватагой Ялмара: три десятка вольных один другого краше, и по каждому давным-давно переключена плачет.

Тут внизу, на площадке, зашевелились. Смотрю, сам Ялмар, Джуро, Шакал с братанами, Пузырь со своей псиной рыжей — видать, уже хватанул где-то... И все рванули к водокачке — только пыль столбом. Ясное дело, там и перехватят. Еще группа — человек семь — почесала в обход к дыре, перекрыть выход. Короче, все, кто оставался на Комбинате. Вот это да-а!..

А троица эта как ни в чем не бывало между куч мусора пробирается, и никак им водокачки-то не миновать, потому что дорога через развалины — одна, а там, значит, друзья добрые их ждут не дождутся.

Посмотрел я вокруг. За оградой — пусто до самого болота; на тропе, что к Станции ведет, ни души. Наши сегодня на фермах промышляют, раньше утра никак не появятся. Тут меня и

осенило — вот он, мой шанс долгожданный! Ведь всей этой братии сейчас не до меня будет, а когда вспомнят — меня и след простыл!

Как только я это сообразил, сразу и ходу — некогда раздумывать. Главное — время! Не первый раз драпаю, знаю. Ялмар, змеюга плешивая, все окрестные ватаги насчет меня предупредил. Успею катакомбы миновать, считай — дело сделано: там горы, ищи-свищи...

Перед цехом, понятное дело, никого. Ну я и сиганул напрямик, не разбирая дороги: через завалы, по грудам кирпича, через стены... Как шею не свернул, сам не знаю. Ободрался весь, как чушка грязный стал — зато успел. Теперь с водокачки меня уже не засекут.

Только я с кирпичной кучи съехал — последние штаны к чертям собачьим! — эта тройка как раз внизу появилась, шагах в трехстах. Идут, как на прогулке, рты разинув. Увидел я это дело, и что-то на меня накатило. Эх, думаю, будь что будет, подпорчу этому подонку праздничек в последний раз! Встал во весь рост, замахал руками, а когда те трое ко мне повернулись, сложил руки крестом над головой — знак опасности, известный каждому дураку. И ведь понимал, что глупость делаю, себе во вред — а поделаться с собой ничего не мог.

Однако, похоже, зря я старался. Увидеть-то увидели, но даже не затормозили, прутся дальше, словно бараны. То ли не поняли, то ли начхать им... Меня аж затрясло: остолопы блаженные, ну и подышайте на здоровье! Не здесь, так в другом месте, все равно прикончат.

Плюнул я и рванул дальше: своих забот хватает. Мне ведь попадаться никак нельзя — не простят! Первый раз чуть не угробили, неделю пластом лежал, еле оклемался, теперь — прибьют, как пить дать прибьют!

Только я успел к ограде выскочить, сзади выстрел, вроде у водокачки. Крики, вопли... Значит, не вышло у Ялмара тихую, шлепнули кого-то. Наверное, долбака этого, с петушиным гребнем. Да лучше бы уж — всех сразу, для них же лучше!

Сунулся я с ходу в коллектор, чтобы не лезть через стену, а там — Аско Кривой!..

ИНТЕР ФЕРЕНЦИЯ

В общем, невезучий я! Нарвался, будь оно все трижды проклято! Кто ж знал, что они перекоют не только проем, но и запасную нору, о которой только свои знали. Аско, конечно, слышал шум — я топал, как слон — ну и приготовился. Дуло двустволки смотрело мне точно в



лоб, а стрелял он без промаха, даром что одноглазый. В ватаге было два-три человека, которых я мог о чем-то попросить, но только не Кривого. В общем — хана!

Ну, выбрались мы на свет, Аско стволom показывает: пошел! По правде говоря, он мог запросто шлепнуть меня тут же, на месте: второй побег и все такое. Но он погнался назад, к старому цеху — выслуживался, жлоб! Ноги у меня как студень сделались, еле переставляю. И такая обида жуткая — хоть волком вой! Ведь все, допрыгался, крышка теперь!

Аско — длинный, как жердь, сутулый — шагах в десяти, пушка наизготовку — не достать! Ухмыляется: «А ну, сучи ногами, щенок!..» Потом на тропу свернули, тут до меня дошло, почему Кривой не спустил курок сразу. Повод ему был нужен, чтоб с поста смыться — к водокачке торопился, хмыры!

Дорога еще та, а последние метры пришлось бежать, так я молил всех богов, чтоб он себе шею свернул или хотя бы оступился. Но Аско — стреляный воробей, его не подловишь!

Тут и водокачка показалась, от нее и осталась-то: кусок стены да несколько пролетов лестницы. Я все на Аско косился — и не сразу заметил, что там кто-то лежит, свесив руки. Вгляделся: что такое?! Пузыры! Тут у меня еще мелькнуло, что больно уж тихо вокруг — ушли, что ли?!

Выскакиваю на пяточок, что перед водокачкой, — аж дыхание сперло. Великие боги, вот это да! На бетоне, на кучах битого кирпича — вся ялмаровская гвардия вповалку! Все, кто в засаде был. И можете мне поверить — мертвее мертвых, уж я-то знаю. В общем, чистая бойня, отродясь такого не видел!

Аско приотстал и увидал не сразу, а как узрел, тут у него челюсть и отвалилась, даже ружьишко опустил. Не ожидал, конечно. Ну, а мне, сами понимаете, терять нечего: пан или пропал! Я ведь специально чуть тормознул, чтоб поближе к нему оказаться. Прыгнул я, чуть хребет не сломал, но достал-таки его ногой. Пуля в небо, ружье в сторону, но Аско, стервец, устоял. Мне бы, дураку, сразу отрываться и деру, а я — сцепился зачем-то.

Кривой хоть и тощий, как червь, но жилистый, и хватка у него бульдожья. Короче, подмял он меня — и за ножом, а я рукой-ногой шевельнуть не могу. Как вывернулся, не помню, успел нож перехватить. Но чувствую — не удержаться, сильнее он, сверху навис и гнет, гнет...

И тут рывок, Кривой вдруг вверх взмывает: морда перекошена, ногами дрыгает. Тень какая-то мелькнула — никак подмог кто?!

Откатился я, вскакиваю. Грохот какой-то. Смотрю, Аско уже на кирпичах лежит плашмя, глаз свой последний закатил. Ну, дела! А передо мной стоит этот здоровенный дядя, тот, что с петушиным гребнем, ухмыляется и кулачище свой потирает: знай, мол, наших!

Ну и долбак, скажу я вам, не иначе, как из храмовников, туда только таких и подбирают. Выше меня головы на две, и что вдоль, что поперек — чистый шкаф. Я перед ним — шавка карманная, щелчком перешибет. А рожа-а... Наш Ялмар рядом с ним — ну чистый херувим, право слово! Весь в шрамах, нос перебит, об лоб разве что кирпичи ломать. В общем, видал виды, это уж точно. Глядит на меня, набычившись, и молчит.

Не знаю, что и делать: драпать вроде неудобно, как-никак выручил он меня. Но и оставаться нельзя: вот-вот остальные ватажники припрутся, кто выходы перекрывал, — выстрел-то они тоже слышали. Покосился я осторожно. Да-а, Аско было от чего обалдеть! Вот тебе и психи безоружные, полватаги запросто уложили вместе с главарем! Как же это они, голыми руками, что ли?

Только подумал, куча щебня сбоку зашевелилась, остальные появляются — парень и девушка — и к нам съезжают в туче пыли. С виду целехонькие, ни одной царапины на них, и опять же — оружия не видно. Стою, не дышу. Парнишка первым подкатился, и сразу рот до ушей.

— Спасибо, — говорит громко, — ведь это ты нас предупредил?!

Странно так говорит: вроде и чисто, а будто не по-нашему. Лицо круглое, в веснушках, как бы сонное слегка.

Я плечами пожал, сам как струна натянутая. Все в толк не возьму, кто такие? Может, из жрецов? Молодые больно!.. Тут и девушка с парнишкой рядом встала и тоже улыбается. Мне улыбается.

Да-а, что там ни говори — щенок я еще, жизни совсем не видел. Кроме гор своих да Призенитья и не был-то нигде. Может, и есть где-нибудь такие девушки — не знаю! Не встречал. Дед, правда, рассказывал, что мать моя редкой красоты была женщина, только я ее не помню — с пяти лет сирота. А портретов с моих родителей, сами понимаете, никто не писал. Да и не в красоте тут дело: может, и поярче бываю; то, что у этой в лице было, никакими словами не выразить — это видеть надо. И сравнить-то не с кем, разве что со всеми Семью богинями, если взять от каждой самое прекрасное и в один лик запечатлеть. И уж яснее ясного: непростая это штука-

ка, из благородных, и как она здесь очутилась, да еще в такой компании — вот вам вопрос?!

Правда, я быстренько сообразил, что не моего ума это дело и чем скорее мы разойдемся, тем лучше. Пока я раздумывал, как бы слинять повежливее, пуля над головой — вз-з-ык! — и в стену, крошка в лицо. Очухались, значит, те, у пролома. Ну, тут уж не до разговоров. Прыгнул я к Ялмару — он в сторонке лежал, за кучей кирпича, рядом винтовка его знаменитая. Ее-то я и прихватил — не пропадать же добру! — и ходу, по насыпи, где раньше узкоколейка была, к бывшим складам. Там есть где схорониться.

Глянул через плечо: тройка за мной рысью четет. Ладно, думаю, пусть, в пакгаузах я от них в два счета отвяжусь — ну их к дьяволам!

Пальнули нам вдогонку раз-другой, затихли — наверное, к водокачке вышли. Ну пусть поразмыслят, теперь сломя голову не попрутся.

Когда пошли склады, я скатился с насыпи — и в первую же щель. Места знакомые; троица мигом отстала. Но с ватагой шутки плохи, Комбинат как свои пять знают. С полчасу я петлял, как заяц, взмок весь, потом дал еще хорошего крюка и вышел к болотам со стороны сферозапада. Местность дикая, глухая, кругом заросли непролазные, топь — лучше и не придумаешь.

Присел на кочку, дыхалку восстановил — вроде пронесло. Винтовочку ялмаровскую осмотрел, ох и вещь, ребята, всей ватаге на зависть! Ведь у большинства какое оружие?.. Дробовики, берданы, самопалы, в общем, бухалки допотопные, с этим делом у нас туго. А у Ялмара настоящий армейский семизарядный карабин, какими кругачи вооружены. Красота! И магазин полный, не успел он, значит, никого угробить перед смертью, да у меня с десяточек патронов заначено, так что жить можно.

Поднялся я, глянул последний раз на Комбинат — будь он семь раз проклят! — и двинул через заросли напрямиком на сфероюг. Пусть себе думают, что я в горы полез — сейчас важно сбить ватагу с толку, оторваться, а там посмотрим!

Собственно, я уж давно все решил, еще когда дед умер: к столице двигаться надо. В горах невоготу стало: холода, голодуха, банды. Поселки вымерли, народ в долины подался, поближе к городам. Там все же полегче, да и шкура целей будет. Кругачи последнее время нашего брата не трогают, своих дел по горло. Черт-те что творится: древневеры совсем от рук отбились, бунтуют, говорят — с хилястами снюхались; сект всяких новых — пропасть, я уж совсем запутался — кто, что, за кого, кому молятся?! Плюс ко всему — отверги, эти вообще ре-

бятя крутые, на всех богов чихают. Народ шепчется: как бы новый Крестовый не прошел!

Впрочем, наше дело — сторона. Мы народ покладистый, богов почитаем, жертвы принесим, никуда не суемся, в кого скажут, в того и верим — чего нас трогать!..

Дед перед кончиной слово с меня взял, что учиться буду — мол, способный я, в отца-покойника, на лету схватываю. Да я и не против — чего в горах-то киснуть?! Но вот не повезло: к Ялмару угодил, чтоб ему в аду на колу сидеть! Крепко он меня зажал, подлюга! Один раз совсем было удрал — в предгорье взяли, чудом жив остался.

Ну да ладно, с Ялмаром — кончено. И со всей его сволочной ватагой. Теперь уж дудки, теперь мы ученые, теперь нас голыми руками не возьмешь! В Призенитье больше — ни ногой, хватит с меня! Окопаюсь в городе, присмотрюсь, там что-нибудь придумаю — не дурней других!

Иду я таким образом, размышляю, через колочки продираюсь, планы, значит, всякие строю. В общем, развесил уши, ну и напоролся.

Откуда ни возьмись — змееголов, и на меня, как пружина спущенная. Здоровенный, с бревно, наверное, и пасть — как ворота. Шарахнулся я в заросли, пальнул оттуда с перепугу, вроде даже мимо. И уже спустив курок, соображаю: мнимон это, будь он неладен, зря нашумел! Ни к черту у меня нервишки стали, пугаюсь, как баба. Да тоже и не сразу поймешь, что к чему, ведь совершенно непрозрачный, сволочь, как живой! Здесь, вблизи Зенита, мнимоны на кого хочешь страх наведут. Иной раз такое выскочит — хоть стой, хоть падай! И даже знаешь, что обман это, призрак бестелесный, а все равно жутко.

Глянул вверх — так и есть, небо жуткое, в пузырях, ложносолнце на сфере черной кляксой набухло. Полдень, самая пора всякой призрачной нечисти. Народ-то здесь дремучий, страсть как мнимонов боятся, говорят — ведьмины выродки. Имечко у них еще, язык сломаешь: Интер Ференция! Чепуха, конечно. Дедуля у меня был образованный, все объяснил. Миражи это, сфера их плодит! Хотя кто его знает, может, и не обошлось здесь без чертовщины?! Ведь чего только в Зените не бывает! Вчера, среди ночи, вообще черт-те что началось! Гул — на всю округу, будто лавина, и земля ходуном: еле успели наружу выскочить. На Комбинате последние строения порушились — настоящее землетрясение! А потом Ось вдруг вспыхнула и как пошла огненными пузырями сыпать — жуть одна. Хорошо, их в горы отнесло,

на ледники, а то сгорели бы тут все за здорово живешь. Никогда такого не было, старожилы поговаривают: мол, знамение это, так и должно быть накануне Второго свершения.

Вот такие здесь дела — в Зените. А уж мнимов разных — не счесть! Каких только не встретишь: и под гадов, и под птиц, и под насекомых всяких... Даже под людей. Порой смотришь: человек человеком, и морда-то знакомая, гнусная, так и чешутся руки шарахнуть из ствола, а ткнешь — пустой изнутри. Призрак, стало быть. А настоящий в это время, может, за сотню сферомиль отсюда — и знать не знает, где его оболочка объявится... Вот, пожалуйста, как на заказ!..

Я как раз на полянку продрался, там посередине стоит дуб засохший. Травка бордовая под ним каким-то чудом сохранилась. И на этой травке — троица знакомая! Ну как живые! А мордатый, в петушиной шапчонке, мне этак ручкой: мол, давай, парень, не стесняйся.

Вгляделся я получше — и чуть не сел. Мать всех богов, какие, к лешему, мнимоны! Это ж самая что ни на есть натурал!..

ПРОВОДНИК

Вот уж действительно: не везет, так не везет! Поначалу меня даже пот холодный прошиб — как же это они, по воздуху, что ли?.. Потом вроде сообразил — обвели! Обвели, как придурка последнего!

Пока я по складам, как псих, петлял и следы заметал, они в открытую пересекли Комбинат, вышли через Могильный пролом и преспокойно поджидали меня здесь, на поляне. Ее при всем желаний не миновать: справа топь, мигом завязнешь, слева — холм лысый, ни кустика, ни травинки, просматривается насквозь, только дурак через него попрется. Вот и выходит — ушлые ребята, таких не очень-то проведешь!..

Тут этот квадратный — он у них, видно, за старшего — пасть свою разевает:

— Эй, парень, двигай ближе! Разговор есть!..

Голос — под стать остальному: труба иерихонская. И выговор какой-то не наш. Может, в столице так говорят?..

Парень с девичей на рюкзачках пристроились, на меня пялятся. Подхожу.

— Садись! — говорит старшой и рюкзак свой пододвигает. Это дело я, конечно, проигнорировал, сел на корточки, спиной к стволу дерева — вся полянка передо мной. Винтовку между колен держу — палец на крючке.

— Да ты не бойся! — усмехается вдруг мор-

датый. — Эти там остались!.. — И рукой в сторону Комбината. — Не придут!..

— А чего мне бояться?! — говорю сразу. — Не я же их ухлопал!

Твердо так сказал, чтоб сразу все ясно стало: мое дело сторона! Вижу, молодые переглянулись — вроде недоуменно. Старшой ничего не сказал, полез в карман куртки. Хорошая куртка, вроде даже кожаная, потерта малость, но еще крепкая. За такую можно на Станции неплохое ружьишко выменять, да еще пороха подсыпят. Полез он, значит, в нагрудный карман и достает... — что бы вы думали? — трубку курительную и натурально ее раскуривает! От спички!

У меня глаза на лоб полезли — табак уж лет сто как извели, про спички и не говорю! Черная сфера, вот, значит, какие дела, все у них в городах припрятано — для себя! Да-а, те еще фрукты!

Затянулся он пару раз, трубку изо рта вынул.

— Как тебя зовут, парень? — спрашивает.

Не с этого надо бы начинать, ну да ладно.

— Стэн, — отвечаю. — А что?

— Ничего, — усмехается. — Понравился ты мне.

Шутит, значит. А я как на иголках, предчувствия у меня паршивые.

— Вот что, — говорю решительно. — Дело есть — выкладывайте! А то досидимся тут!..

Старшой и глазом не моргнул. Оборачивается, мундштуком тычет:

— Познакомься: Лота и Ян!.. Ты им тоже понравился.

Парнишка сразу вскакивает, аж весь сияет и ручку мне тянет — не может без церемоний. Ну, поздоровались. Ничего ладонь, крепкая, не такой уж он рохля, как кажется. Девушка мне с места кивнула, улынулась. А я чуть по струнке не встал, насили удержался. Странная она, все-таки.

— А меня зовут Бруно, — продолжал мордатый. — Мы тебя в деле видели, хотим кое-что предложить.

Так, это уже разговор, я тотчас насторожился. Старшой выколотил трубку о каблук, наклонился ко мне.

— Проводник нам нужен, парень, — говорит негромко. — Пойдешь?

Вот, значит, как. Я быстренько прикинул: куда ж это они собрались?.. Если в катакомбы, так их у первой же шахты пристукнут — уж больно заметные. Да и зачем им туда? В горы — так там и нет никого, кроме горстки стариков-древневеров...

Но в главном я только укрепился: что бы там

ни было, нам не по пути! Это я буквально нутром чуял.

— Нет, ребята,— трясую головой,— ничего не выйдет. Я в столицу — дела у меня там...

— В столицу? — вскинулся мордатый. — Туда?.. — И пальцем в сферу тычет.

Я машинально киваю: псих, что ли?!

— Вот и хорошо,— говорит невозмутимо.— Туда и проводишь!

Остальные на меня уставились: кивают, улыбаются. Нет, что хотите со мной делайте — что-то здесь не чисто! Или это у них шутки такие?..

— Ты не думай, парень,— опять говорит старшой,— мы заплатим! Называй цену, не стесняйся!

Тут у меня в башке вроде забрезжило: какие там шутки?! Влип я, похоже, в историю — хуже некуда! Вот и не верь предчувствиям после этого!

— Зачем я вам? — говорю через силу.— Я здешний, сам впервые туда иду...

— Видишь ли, Стэн,— осторожно говорит мордатый,— мы дорогу плохо знаем. Издалека идем, понимаешь?.. Порядков ваших не знаем — вот, напоролись сегодня, ты же видел?! Так что — выручай!

Я только головой кручу: ничего себе, дороги не знают! Темнят, ох, темнят, ребята!

— А что,— говорю,— дороги?.. Все дороги туда ведут, тут не заблудишься!.. А вы сами-то откуда будете?

Спросил и замер. Понимаю прекрасно: к стенке их припер. Трудно тут соврать, потому что по физиономиям ихним видно — столичные штучки!

Переглянулись они, старшой и говорит твердо:

— Ты, парень, нас не пытай — для тебя же лучше! Проводи в столицу — не пожалеешь. Это я тебе твердо обещаю.

В общем — все ясно! Неспроста эти типы здесь очутились, вот что! Подосланные они, задание имеют! Скорей всего — разведка храмовников, ведь мордатый наверняка из них — там только таких амбалов и держат. И коли я им понадобился — убей бог, не пойму, зачем! — то уж не отвяжутся. Как ни крути, дело дрянь. Упрусь — шлепнут за милую душу, ребята крутые; соглашусь — все одно живым не выпустят, эти свидетелей не оставляют.

Как я все это сообразил, меня даже в жар бросило. Нет, думаю, шалишь, мне еще мил свет не надоел, еще попрыгать охота! Взял себя в руки и говорю, вроде как безразлично:

— Да я что... Если надо — пожалуйста. В столицу так в столицу!

— Отлично, Стэн! — рявкнул мордатый.— Мы в тебе не ошиблись.

И ручищей меня по плечу — чуть с ног не сшиб, бугай чертов. Молодые тоже просияли: уломали, дескать. Ладно, думаю, порадитесь, с меня не убудет, а там мы еще посмотрим, кто кого. Теперь-то я умней буду.

Поглядел вокруг. Мнимоны вовсю разыгрались, корчатся в кустах один страшнее другого; небо уже позеленело, в зените Черное солнце пульсирует, красочными пузырями исходит — в глазах рябит. Самый пик! Идти, правда, тяжело, можно напороться на какую-нибудь дрянь — в болоте их полно! — зато и выследить нас труднее.

— Ну, ладно,— подаю голос.— Чего зря сидеть? Пошли, что ли?!

СТАНЦИЯ

Первым делом следовало от Комбината смотаться. Я своих знал — Ялмара не простят. А я нынче вроде как в сообщниках у этих — вместе улепетывали, да еще винтовочку прихватил, а на нее многие зарились.

Поэтому прямо с поляны двинул я не на тропу, что к тракту вела, а в болото, к Станции. Грязновато, конечно, да и по кочкам прыгать — радости мало, зато самый короткий путь. За Станцией уже зона катакомб начиналась: шахты, бункера, подземные хранилища. Вряд ли нас в этом гнезде змеином искать будут. А заодно пусть-ка мои знакомцы новые в болоте побарахтаются, глядишь, прыти-то поубавится.

Так и потопали: я первым, потом девица с парнем, а мордатый Бруно, или как там его, замыкающим. Ничего шли, ходко, не отставали. Правда, молодые первое время от каждого мнимона шарахались, будто в жизни не видали. Ну, ясно — городские, там какие мнимоны — одно название! «Кто в Зените не бывал, тот мнимонов не видал!» Пришлось остановиться, объяснить, что к чему. Здесь всякой мелкой живности — море, а сфера в полдень — как зеркало увеличительное: из любой пичужки такую образину сотворит — в страшном сне не увидишь! Тут главное — научиться их отличать, потому что в наших болотах не только мнимоны водятся, здесь и настоящих гадов пруд пруди. После Свершения они объявились. Дед втолковывал, что они из-за фона — мол, в Зените фон какой-то повышенный, вот они и расплодились. Он их даже как-то называл, тоже на букву «м», только я забыл. Бог с ним, с названием, важно, что любой мнимон всегда бесшумный — при-

зрак, он и есть призрак! — а настоящий гад без шума не может, так что здесь не столько глаза нужны, сколько уши.

Выслушали меня спутники мои и рты раскрыли — даром, что образованные. Этот, молодой, и говорит:

— А ведь верно! Молодец, Стэн!

Мне, конечно, его похвалы ни к чему, но все ж приятно: не такие уж мы тут дикари, кое-что кумекаем!

Пошагали дальше — некогда разговоры разводить. Троица освоилась, попривыкла, даже болтать между собой начали. Но недолго, до первого змееголова — настоящего, не призрачного, два патрона на него, гада, потратил. Тут они вмиг попритихли, к старшему стали жаться. Этот, чувствуется, видал виды, нервишки что надо.

Пока шли, я хорошенько раскинул мозгами и решил, что до темноты рыпаться не стоит. Опасно. Парнишка-то и девица, конечно, не в счет, а вот мордатый — другое дело: шутки с ним плохи.

Территория Станции издавна считалась нейтральной. Когда-то здесь был целый городок, обслуживал шахты и рабочие поселки. Раньше здесь водился уголь, а когда все выбрали, народ-то и разбежался. Железная дорога еще раньше накрылась, только насыпь и сохранилась, да бетонные шпалы кое-где. Рельсы давно уж по кузницам растащили — или ржа съела: давно это было, еще до деда. Сейчас через Станцию проходил единственный приличный тракт в Сферополис, поэтому там вечно всякий люд околачивался: бродяги, ватажники, беглые рабы, хизмачи, нищие. Там же было торжище, барахло шло со всей округи — вместе с новостями. Может, удастся что и про моих знакомцев разнюхать?

Прошли мы болото, на сухое место выбрались. Удачно прошли, хоть и нашумел я малость. Впереди, за рощицей, показалась вокзальная крыша — вся в дырах. Собственно, от Станции только и осталось, что обгоревший вокзал да платформа. На ней обычно и выставляли основной товар: оружие, боеприпасы, снаряжение. Всем прочим торговали вдоль насыпи и внутри вокзала. Там же можно было перекусить на скорую руку и разжиться продуктами.

После болотной жижи моя троица слегка поблекла. Парнишка этот, как его, Ян, что ли, разочек хорошо искупался, чуть не с головой — еле вытащили. Но ходоки они что надо, это я от чистого сердца говорю! Не похоже, чтоб измотались, топают себе по травке легко, гуляючи, неплохо их натаскали.

Подходим к вокзалу — тихо, никого не видеть. Мне это сразу не понравилось: ведь самая пора! Должно все кишеть...

Вообще-то на Станции довольно безопасно, крупные ватаги здесь не промышляли и даже счеты друг с другом сводили обычно в стороне. Неписанный закон, толкучка ведь всем нужна.

Обошли вокзальчик справа, вот и платформа — с одного края разбитые ступеньки, другой — в заросли упирается. Гляжу: что-то не то — товар есть, а людей нет, будто сгинули. А барахла кругом — пропасть! Одежка, посуда, инструменты, тряпки — чего только нет! Все брошено впопыхах, втоптано в грязь. И повсюду лошадиные следы — и вроде свежие. Ясно, как божий день: пошуровал кто-то недавно! Вот тебе и нейтралитет!

Тут меня Бруно тихонько подзывает — он первым делом в здание вокзала заглянул. Подхожу... Святая сфера, вот где они все! Впалку на полу, уже холодные, наверное! Кровищи — море...

Выскочил я оттуда, как ошпаренный! Ну и ну, что ж это получается? Кто-то их всех порубал ни за что ни про что и запрятал в здание. Может, какая лесная ватага сюда сунулась? Народ там дикий, никаких законов не признает. Но почему тогда барахло не тронут? Любая ватага шмотки первым делом приберет! Да и зачем им такую бойню устраивать? Разогнали бы всех, ну шлепнули сгоряча одного-двух, а тут?.. Народ, конечно, все больше пустой, никчемный, никто по ним плакать не станет, но ведь люди же!

Молодые тем временем тоже в здание сунулись — выходят, лица на них нет. Да-а, это вам не столица! А Бруно, смотрю, хоть бы хны: трубка в зубах, попыхивает себе в небо, небось, и не такое видал!

Стою у платформы, соображаю: куда ж теперь? По насыпи, к тракту? Опасно, каждая собака тебя издалека видит. К шахтам с моими приятелями нечего и соваться... Черт его знает, хоть назад возвращайся...

— Топот! — вдруг заявляет мордатый. — Кто-то скачет...

Не слышал я никакого топота, но рассуждать не стал.

— А ну давай сюда! — командую. — Быстро! Сиганули мы в щель под платформу, затаились среди всяческой рухляди. Грязь, вонища — хоть святых выноси. Я приложился ухом к земле: действительно, скачут! Похоже — много. Хороший у мордатого слух, позавидуешь!

А через пару минут влетает на Станцию здоровенный конный отряд — сотня, не меньше.

Я как форму их увидел — синие мундиры с белыми кругами на рукавах, — похолодел весь. Черное небо, кругачи! Этого только не хватало! Вот, значит, кто здесь орудовал, выходит, и Пузырю-покойничку не померещилось вчера с перепоею: сфероносцы в Призенитье! Но какого дьявола? Сто лет духом ихним не пахло, и на тебе!

Большая часть отряда с ходу рванула вдоль насыпи, к тракту — слава богам, мы туда не сунулись! Остальные быстро спешили и давай вокруг шнырять. В общем, дрянь дело — прочесывают Станцию!

Пихнул я Бруно в бок — и ужом к тому краю платформы, где заросли. А над головой уже сапожищи бухают, труха сыплется, пыль. Ну и денек сегодня! Не знаю, за кем они охотятся, может, и не за мной, но от этого не легче: найдут — и как тех...

Ползу, не оглядываюсь, платформа длинная, низкая — не встать. Сзади вроде мордатый пыхтит, не отстает. До края уже рукой подать, тут кто-то из солдатни в щель сунулся: «Стой, стой!..»

И сразу выстрел — как из пушки, в ушах заложило. Прыгнул я тигром, затылок о плиту рассадил, вывалился на свет — и в кусты, вслепую, только глаза от колючек прикрыл. Крики, пальба, ветки вокруг от пуль секутся... Счастье мое, что заросли здесь сплошной стеной, а то бы все, какюк!

Ох, и бежал я, мама родная, все свои рекорды побил! Весь выложился, без остатка. Как ноги подкосились, плюхнулся брюхом вниз — в глазах темно, сердце где-то у глотки, вот-вот выскочит. Одна только мысль в башке: ушел, забери меня черти — ушел!

Минут десять в себя приходил, потом огляделся. Лежу в густой траве, на светлом пригорке; где-то сбоку ручей журчит; вокруг, уступами, лес — хороший лес, плотный; а между здоровенных сосновых стволов — скалы. Все в порядке — впереди горы!

Ну, тут я совсем повеселел: не подвело чутье, правильный курс выбрал. Кавалерия кругачей в горы не попрется — кишка тонка, а приятели мои новые бродят сейчас где-нибудь в зарослях, а может, и лежат уже на вокзале. М-да, здесь уж как повезет!.. Одним словом, хорошо удрал, черта с два меня найдут: так след запутал, ни одна собака не возьмет!

Повернулся я на спину, лицом к сфере. Она еще голубая, яркая, глаза режет, но уже к синему часу дело идет. Ложносолнце давно скисло, от него лишь серая клякса осталась. Люблю я это время сферодня, самый приятный для гла-

за свет. Утром уж слишком много красноты вокруг, все бордовое, будто пожар вселенский. И рожи у всех мерзкие, как у Пузыря при запое. В желтый полдень начинается вся эта чехарда с Черным солнцем — и в глазах рябит, и нечисть всякая безобразит. А сейчас самое то, как и должно быть в природе: трава — синяя, горы — зеленые в сизой дымке. Красота! От сферы — мягкое тепло; пригревает, тихо, спокойно... Отдохну, думаю, малость — и в горы. Места, слава богам, знакомые, можно сказать, родные. Осмотрюсь, разведу, что и как, и дальше — к столице...

Одним словом — размечтался, сучья кость, раскис. Тут они и выскочили из кустов — как призраки! Все трое — целые, невредимые, даже поклажу сохранили. Я как к земле прирос — не шевельнуться, рот разинул. Ведь хоть бы ветка где хрустнула!..

Тормозят рядом, и этот молодой, белобрысый мне этак ручкой: мол, вот и мы! Рюкзак скинул, присел рядом, рукавом пот с лица вытирает, а сам почти сухой, ну, может, слегка запыхался. Вот дьявольщина, как же это?..

Лота головой тряхнула, улыбнулась — мне! — и к ручью, грязь смывать. А мордатый даже не присел, сразу за трубку. И, разрази меня гром, такой у них вид, будто и не бежали они только что сломя голову, а так, размялись слегка. Ну и ну!..

Сел я, братцы, и морда у меня, наверное, до колен вытянулась — Ян даже заржал. Святая сфера, что же это получается? А Бруно трубку раскурил и спрашивает, словно ничего не случилось:

— Ну, Стэн, куда теперь?

А я сижу столб столбом, язык проглотил. Скажу без хвастовства: мало кто со мной в беге сравнится, спросите любого. И вот я валяюсь, как конь загнанный, а этим хоть бы что, чуть вспотели. И главное: как они на меня вышли, ищейка у них припрятана, что ли?.. Ох, хотелось бы мне знать, где их так натаскали?! Одним словом, недооценил я их, вот что, матерые это ребята. Сопляк я перед ними, и вот это отныне надо зарубить себе на носу!

Ну, ладно, пришел я в себя, рот захлопнул. Гляжу, Лота поднимается, лицо в брызгах, волосы мокрые поправляет. Казалось бы, что особенного — а глаз не оторвать, прямо завораживает! Наваждение какое-то. Потом руку на сферуюг вскинула.

— Там что, — спрашивает, — горы?

— Угу, — говорю, — они самые... — Подумал и добавляю осторожно: — Вот туда и пойдём!

Смотрю, все на меня уставились. Лота гла-

за прищурила, меня будто ледяной водой окатило.

— А как же столица? — спрашивает тихо.

— Да ты никак струсил, парень? — подает голос Бруно.

Ладно, проглотил я молча, понимаю: завести хотят. Но это они зря, это у них не выйдет. Не на того напали — мне с ними надо жить дружно. Пока.

Встал я — ноги, как бревна дубовые, и говорю:

— Вы, конечно, как знаете, а мне через Станцию путь заказан. В Сферополис можно и через горы — один черт!

Вежливо сказал, спокойно. Бруно головой качает:

— Далековато через горы-то... Время потеряем.

— Ну и оставались бы на Станции, — не выдержал я. — Кругачи бы вас в два счета куда надо доставили!

Старшой и глазом не моргнул, стоит, покуривает. Молодые переглянулись.

— А что, — говорит Ян, — это мысль!

Поглядел я на его физиономию конопатую — не поймешь, всерьез или придуряется. А Лота головой качает.

— Нет уж, — говорит, — лучше со Стэнном! Больше увидим.

Черт знает, чего несут?! И этот, мордатый... Далековато, видите ли... Будто не все равно, в какую сторону идти — Зенит же! Другое дело, что в горах трактов нет, там попотеть придется. Но тут уж надо выбирать!

Ну ладно, присел я к воде, стал свои ссадины исследовать. В основном, чепуха, царапины. А вот к затылку не притронуться, шишка там с кулак, кровь вокруг запеклась. Это я о платформу, когда нас там застучали.

Тут Лота подходит, дай, говорит, посмотрю. Буркнул я что-то, мол, пустяки, заживет — не слушает. Запустила пальцы в шевелюру, нащупала рану — легонько-легонько. Застыл я, как пень.

Дед мой мастак был всякие старинные байки рассказывать, про королей там, рыцарей, принцесс... Сказки, одним словом. Так вот, Лота будто оттуда и явилась — в жизни такой красоты не видел, такого совершенства, даже холодок пробирает: да возможно ли?.. Нет, словами не передать — смотреть только да богов славить, что такое чудо сотворили. Забыл я про все: и про боль, и про кругачей, и что дело мое дрянь. Вот ведь как...

Я даже не сразу сообразил, что Бруно меня давно за плечо трясет: «Очнись, парень!..»

— Что такое? — включаюсь.

— Уходить надо, — говорит спокойно. — Идут сюда.

Тут до меня, наконец, дошло, вскочил, как ужаленный.

— Как идут?.. Кто?..

— Не знаю, — пожимает плечами Бруно. — Наверное — со Станции. Близко уже... У меня слух, парень, как у филина...

ОБИТЕЛЬ

Откуда у него такой слух взялся, я додумывал уже на ходу, как, впрочем, и все остальное. Дунули мы в горы — и вовремя!

Только через первый гребень перевалили — от леса ярдов триста, — как вываливается оттуда видимо-невидимо кругачей, с роту, если не больше. У меня в глазах зарябило — откуда их столько? Пешие, с короткими карабинами, за плечами ранцы. Короче, совсем другая часть, не со Станции.

Не знаю, засекали они нас или нет, только сразу без передыху полезли вверх. И так резво — будто в горах родились. На плечах круглые погончики серебром поблескивают.

Ох, и не понравилось мне все это! Вчера патрули, сегодня кавалерия, теперь еще эти. Неужто все-таки война? Но с кем они в горах воевать собрались, там же и не осталось никого!

Переглянулся я с троицей, головой покачал.

— Плохо, — говорю. — Отсюда один путь — на Седловину. Свернуть некуда.

Ян вниз глянул, потом на меня.

— Ерунда, — говорит презрительно. — Обгоним!

Я ничего не сказал, подъем скомандовал. И хоть устал, как собака, и живот подвело — с утра ни крошки во рту! — а рванул в полную силу, без дураков. Вспомнил я, что за погончики у них на плечах: «серебристые духи» это, вот кто, самые отборные части сфероносцев, личная гвардия экзарха.

По счастью, я эти места как свои пять знаю — вырос здесь. Дорога к Седловине действительно одна, но не всем известно, где срезать можно. Есть тут дикая тропочка, по самой кромке провала. Очень хорошая тропочка, не каждый идти по ней решится, а с поклажей — и вовсе не пройти. Слева стенка отвесная, гладкая-прегладкая, не зацепиться; справа ущелье без дна, только сизый туман клубится да рокот слабый — где-то там речка в камнях бьется. А тропка сама — в ширину ступни.

Вот по ней я и двинул. Дело для меня привычное — к скале животом прижался и пошел семенить бочком. Тем более, налегке я, одна винтовка. И то озноб по коже! Вспомнил я про рюкзачки у троицы — весело стало. Я человек не вредный, но тут не до церемоний: кто кого?!

Перебрался я через самый пакостный выступ, жду, сердце стучит. Очень мне интересно, что мои друзья-товарищи сейчас делать будут: назад повернут или мешки свои к чертям собачьим побросают?!

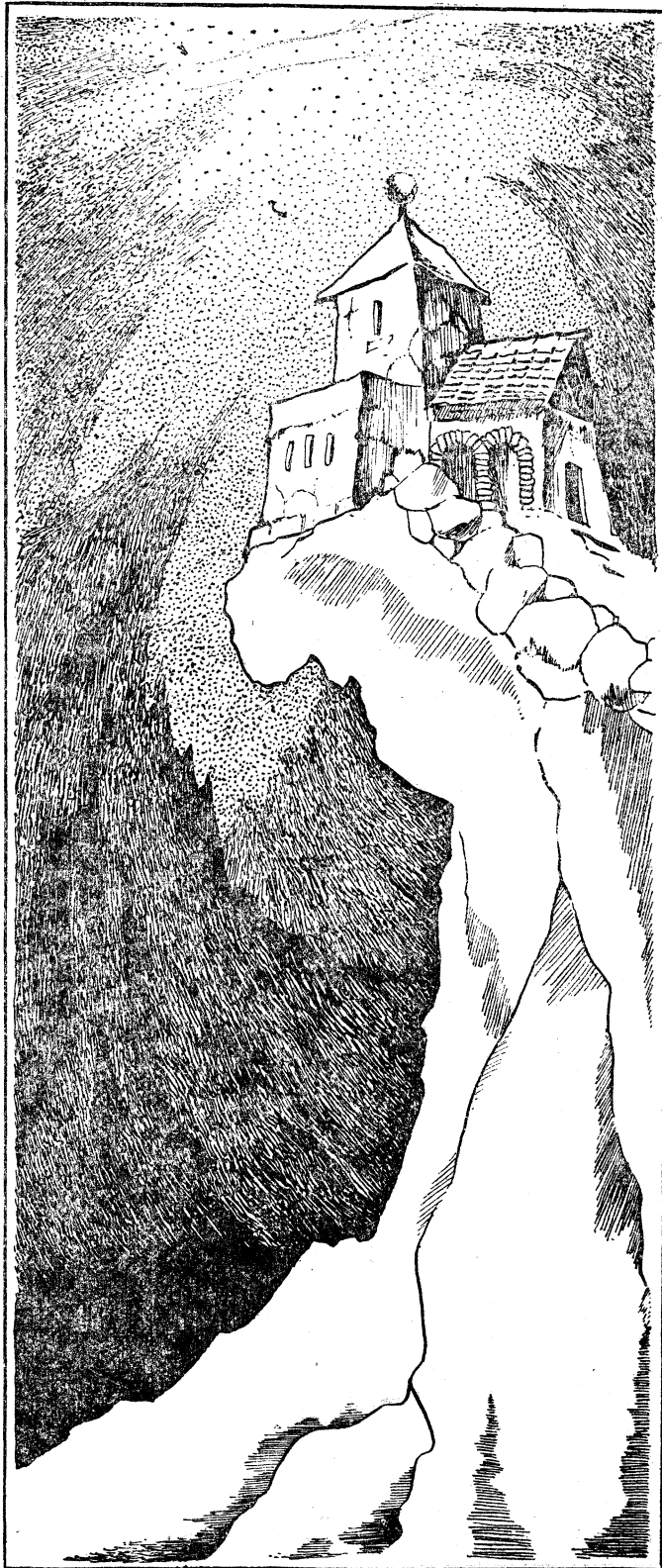
Минуты не прошло — ползут все трое, как приклеенные. И у каждого рюкзак, а у мордато в зубах трубочка дымится — ну, дает! Я дышать перестал: все, сейчас гробанутся! Поздно уже рюкзаки сбрасывать, здесь и шевельнуться-то негде. Был как-то случай, мы с дедом от хизмачей удирали. Тогда их двое тут сорвалось. Мы потом специально вниз лазали за оружием. Какой там — даже костей не нашли!

В общем, если бы я это своими глазами не видел, ни за что не поверил бы. Прошли ребята, уж не знаю, каким чудом — прошли! Даже не задержались, проскочили играючи, догоняют — и мне: «Давай, давай, парень, не задерживай!..»

Двинул я, как во сне, и до самой Обители в себя прийти не мог. Что ни говори, а не было у нас в горах человека, который бы с поклажей здесь прошел. Не слышал о таком и сам никогда бы не решился. Даже зауважал их, честное слово...

Вот так и добрались до монахов, быстро, еще засветло. Я прикинул, и получалось, что три-четыре сферочаса мы у серебристых выиграли. Не бог весть что, но хоть передохнуть можно.

Обитель древневеров — единственный живой уголок по эту сторону перевала. Тропа на Седловину как раз здесь проходит. Вокруг скалы отвесные, голо, дико. Вершин не видно — все в сизой дымке; внизу — черным зеркалом — озеро, Мертвая голова называется. По форме — череп, даже глазницы есть — два круглых каменных островка. Сам монастырь прилепился на уступе: башня из неотесанных глыб с остроконечной крышей; во дворе — пристройки, тоже из камня. Все старое-престарое, еще до Первого свержения возвели, крыша рыжим мхом обросла, даже черепицы не видно. Раньше там древневерский крест красовался, пока его кругачи не сбили, теперь натурально — сфера бронзовая, хотя монахи ее не больно жалуют. Все, кто через Седловину идет, обычно здесь



отдыхают. У монахов обет такой: путников принимать и кормить...

Подходим, Ян меня нагоняет. Веселый, как всегда, зубы скалит.

— Это что,— спрашивает,— приют альпинистов?

Черт их знает, городских, может, действительно что новое объявилось?

— Не слышал о таких,— отвечаю.— Секта, что ли, новая?

Гляжу, челюсть у него отвалилась, промямлил что-то, отстал. И со своими: бу-бу-бу... Ти-хонько, чтоб я не слышал.

В общем, что хочешь, то и думай. То ли одичал я напрочь, то ли эти ребята с луны свалились! Это раньше так говорили, еще до Свершения: с луны, мол, свалился! И сейчас говорят, хотя что это такое — поди, никто и не помнит. Мне дед рассказывал: раньше по ночам в сфере такая хреновина круглая висела, вроде фонаря. Светила немножко. Полезная штука, сейчас-то ночью хоть глаз выколи!

В воротах сам отец Тибор встречает, все такой же тощий, маленький, головастый. Поседел, правда, и бороденка совсем козлиной стала, но ничего, крепенький еще. Он меня помнил, мы здесь с дедом не раз бывали.

Кланяюсь, говорю, что положено. Вижу, отец Тибор глазенки свои вытаращил — ну, ясно, Лоту увидел. Здесь, наверное, с Первого свершения женщин не бывало. Остальные монахи тоже повылазили, бородами трясут, плятятся, хрычи старые.

Дернул я старика — мол, торопимся, отче, не откажи бедным путникам... и так далее. Обычай-то, спасибо деду, знаю.

Повели в трапезную. Здесь ничего не изменилось: каменные закопченные стены, очаг, длинный выскобленный стол; по углам гермы с ликами древневерских богов, вернее, святых — бог у них, у древневеров, один.

А вот с едой у монахов совсем худо стало. Вынесли нам по миске ячменной каши да по кружке кипятка. И все. А каши-то всего на доньшке. Видать, обнищали монахи, раньше-то их местные подкармливали — и на гостей хватало.

В один миг очистил я свою миску, за кипяток принялся; что ел, что не ел... С такой жратвой нас серебристые в два счета цапают. А друзья мои, смотрю, в мисках лениво поковырялись, отодвигают — не нравится, значит. Лота какой-то мешочек раскрывает, там разноцветные горошинки — много, и мне протягивает парочку.

— Съешь,— говорит,— это вкусно! — И сама грызет, как леденец.

Ну, разжевал я, съел. Сладкие, вроде сахара, да что толку? Лучше бы хлеба предложили, вон у мордатого рюкзачище какой, неужто жратвой не запаслись?!

Отец Тибор напротив присел, руки к груди впалой прижал, глазки так и бегают. Видать, чешется у него язык, но молчит, крепится. Это у них строго: ни о чем гостей не спрашивать.

Допил я кипяток, и такое у меня ощущение, что сыт. Вот хоть режь — сыт! Будто до отвала наелся и не какой-нибудь там пресной каши, а мяса сочного, со сковороды. Даже привкус во рту — как, бывало, в праздники, когда раздавали жертвенное мясо. Минуту назад живот к кишкам прирос, быка бы съел, ей-богу,— и на тебе, сыт! Неужто в тех горошинах дело?

Лота, смотрю, улыбается, в глазах — лукавые искорки. Ну, чудеса! Совсем мы тут в горах одичали, в столице вон какие штуковины в ходу, а мы и слыхом не слыхивали. И вот что интересно: усталости словно не бывало! Это после всего, что сегодня было! М-да... Короче, самое время ноги уносить.

Тут отец Тибор не выдержал, рот свой беззубый раскрыл, глазенки круглые, любопытные.

— Удивляюсь я на ваш,— шамкает.— Одеты вы больно легко. Нынче на тропе снега по пояс, уш не жнаю, пройдет ли?

Насчет одежды — это он точно, жидковато мы одеты, не для гор.

— Круглый год снега не тают,— продолжает старик,— раньше такого не было. Прогневался господь, ай, прогневался!

— А скажите, папаша,— вдруг встречает Ян,— когда у вас это началось?.. Ну, похолодание?.. Вы не могли бы точно припомнить?

Отец Тибор аж поперхнулся, глаза вытаращил. Еще бы: кто ж к монахам так обращается? Ну дает конопатый, где его только воспитывали! И на кой ему это знать?..

— Отчего ж не припомнить,— продолжает старец смиренно.— У нас хроники, почитай, со Дня свершения. Все там записано... Ешли юноша интересуется...

В общем, не успел я и слова вымолвить, как монахи — рады стараться — тащат на стол свои хроники: стопу здоровенных книжищ, обшитых кожей. А самые старые еще в пластиковых переплетах, я таких и не видел никогда.

Только этого нам не хватало! Смываться давно пора, кругачи на хвосте, а эти друзья, как волки голодные, на книги набросились. Листают, глазами впились, ничего кругом не видят. Ну чисто дети, будто книжек в жизни не читали! Старикашка что-то бубнит, тычет пальцем в страницы, глазки горят. Чувствуется — доволь-

ный! Может, первые дурни за двести лет ссыскались, которые в ихние хроники заглянули.

Я уж Бруно знаки делаю: мол, время! — не реагирует. Листает, как бешеный, страницы так и мелькают. Тот еще читатель, картинки, что ли, ищет?

Заглянул я тоже — в ту, что Лота в руках держала. Ох, и древность! Бумага желтая, ветхая, и буквы печатные. Дед рассказывал, что раньше специальные машинки для письма были — сами книги строчили. Это уж потом рукописные пошли, после Свершения. Читать, слава богам, я умел — спасибо деду, но до Лоты мне, прямо скажем, далеко. Я только успевал заголовки разобрать, а она уже переворачивает. Впрочем, ничего особо интересного там не было. Все давно известно: День свершения, семь сфер, ложносолнце, пузыри, мнимоны... Это тогда все было в диковинку, многие, говорят, свихнулись на этой почве. Теперь-то что об этом читать? Как истинная вера возникла, как боролись за нее — опять же, каждый ребенок знает! Монахам в горах делать нечего, вот и пишут, грамотей!

Плюнул я мысленно, вышел во двор — беспокойно у меня на душе. Кругачам, конечно, еще топтать и топтать — здорово мы срезали! — но лучше бы нам еще дальше от них. Темнеть уже начало, сфера фиолетом подернулась, через час-другой совсем погаснет. Но если наддать как следует, до пещеры можно успеть. Переждать там ночь — солдаты по темноте не попрутся, а утром — через Седловину.

Я уж, грешным делом, подумал — не махнуть ли одному, пока они там развлекаются книжечками, но сдержался. Нет, с ними этот номер не пройдет — шутя догонят. Тут хитро надо...

Вдруг — топот, кто-то на крыльцо выбежал. Так и есть: мордатый!

— Стэн, — орет, — ты где?

Подхожу. Бруно в небо пялятся, глаза поблескивают как-то странно, будто у него там стеклышки вставлены.

— Слышишь? — спрашивает. — Гудит!

— Где гудит? — говорю. — Лавина, что ли?

Спокойно спрашиваю, знаю: не время еще лавинам. Он башкой качает:

— Нет, парень, не лавина... Туда смотри! — И пальцем в сферу тычет.

Пригляделся я, вижу: в просвете между двумя вершинами блеснула темная точка — словно металлическая. И вроде — к нам летит, будто птица. Тут и гул с неба донесся, вернее — стрекот. А штука эта летающая все ближе, буквально на глазах растет. Что за наваждение, ду-

маю, сроду таких птиц не видал! Лота с Яном уже рядом, тоже в небо уставились.

А стрекот все громче, как бы накрывает сверху. Монахи услышали — и во двор, руками машут, галдят.

Опешил я, по правде говоря, растерялся. Какая там птица!.. Чешет к нам прямо по воздуху невиданная машина величиной с сарай, наверное! Рыло тупое, стеклом сверкает — чем-то на стрекозу смахивает. А сверху круг прозрачный, словно нимб. И прет точно на монастырь, со снижением. Тут меня будто ожгло.

— А ну — в дом! — ору. — Быстро!

И только мы успели в помещение заскочить, как замолотит с неба: ду-ду-ду-ду!.. Я на пол брякнулся, вижу — по двору очередь прошла, искры снопами. Потом по крыше словно молотом — весь монастырь затрясся... Понял я, что за штукавина к нам пожаловала. Геликоптер это, боевая летательная машина! Раньше, говорят, они часто летали.

Подполз я к окошку — по счастью, они здесь узкие, как бойницы! — выглядываю. Висит, гадина, совсем рядом, как привязанная, на боку — белый круг, знак сферы. В брюхе черная дырка — люк, оттуда пулемет и шпарит. А монахи мечутся по двору, как бараны, хоть бы за камни спрятались, дурни: в упор их косит! Эх, ду-маю, была не была...

Просунул винтовку ялмаровскую, поймал в прицел того типа в люке, пальнул. Попал, не попал — не знаю, но пулемет сразу заглох, а машина вверх шарахнулась, чуть скалу винтом не зацепила! Ага, не нравится. Выстрелил я еще разок вдогонку — это уж точно мимо — и во двор. Геликоптер уже высоко усвистал, никакой пулей не достанешь. У крыльца отец Тибор лежит, скрючившись, — переломало очередью беднягу. Еще трое или четверо — у ограды, кто-то стонет. Троица моя уже над ними хлопочет. А у меня ноги дрожат, в ушах звон колокольный...

Ведь это что выходит?.. На Станции — рейтары, в горах — гвардейцы экзарха, теперь еще и геликоптер! В общем, и снизу и сверху обложили, как волков. Не случайно же это, не бывает таких случайностей! Даже идиоту ясно: это за нами. Вернее — за ними! Сотни солдат, отборнейшие части, гоняются по всему Призению за какими-то тремя типами, из которых один — щенок желторотый, вторая — девица, а третий... третий вообще черт-те что, ни в какие ворота не лезет. Это что ж такое натворить надо, чтобы такая кутерьма поднялась — представить страшно?!

И еще я понял, что кругачи им давно на хвост сели, еще до Комбината. То-то они так

вперед рвались, даже не свернули, когда я им знак подавал! Станция — тоже из-за них, сфероносцы, видать, всю округу прочесали... Великие боги, что же делать?! Нельзя же против целого света — вчетвером!

Повернулся я, обратно в дом поплелся. Раненых уже сюда перетащили. Бруно с Лотой что-то с отцом Тибором делают, хотя там, по-моему, делай не делай, ничем не поможешь! Мир, как говорится, праху его, добрый был старикан...

Входит Ян — насупленный, бледный, глаза, как две колючки. И что-то шепчет сквозь зубы — ругается, что ли? Увидел меня, подходит.

— Что они, совсем озверели? В безоружных!.. — выкрикивает. А у самого губы трясутся, кулаки стиснуты.

Что тут скажешь?.. Пожал я плечами, вздохнул.

— Ладно, — говорю мрачно. — Идти надо... Монахи без нас своих отпоют...

Смотрит он на меня глазами круглыми, будто не слышит. Потом вроде что-то в них блеснуло — дошло.

— Послушай, — вдруг говорит тихо, — отсюда есть другой выход?

Я головой покачал, у самого душа в пятки: что еще?

— Понимаешь, какое дело, — продолжает, морщась, — вертолет-то на перевале сел... Я проследил. Хорошо бы нам другой путь поискать.

Все у меня внутри обмякло, сел, где стоял, винтовку коленями стиснул. Ну вот и добегались! На Седловине один человек с пулеметом армию удержит, не то что нас!

Понял я, что хана нам — и вроде полегчало. Конец так конец, от воли богов, как говорится, не уйдешь...

СЕДЛОВИНА

Ночь была на исходе, оставался час темноты, может, чуть больше. Стэн хорошо чувствовал время — никаких часов не надо. Перед рассветом в горах всегда так: тьма будто сгущалась, давила на грудь — даже дышать трудно... Впрочем, здесь — на перевале — всегда не хватало воздуха.

Стэн нацепил очки и невольно зажмурился. Мир вспыхнул призрачным сиреневым светом, будто в горах, на всех вершинах одновременно, зажглись миллионы гигантских факелов. И опять он затаил дыхание: чудо есть чудо!

Он лежал прямо в пушистом снегу, зарывшись в сугроб чуть не по самые брови. Вокруг

было светло, как днем. Просматривалась каждая трещина в скалах, каждый камешек. Четко, ясно, словно глаза стали еще зорче — лучше, чем днем!

Слева, за близким перевалом, плавной умопомрачительной дугой нависал заснеженный массив Армагеддона. Вершина, обычно скрытая туманной дымкой сферы, блистала лиловым девственным снегом. Оттуда, пронзая Зенит, бил тонкий, с волосок, световой луч — Священная ось мира. Правее вздыбилась четкая, словно нарисованная цепочка дальних вершин; за ними лежала Проклятая долина — страшное место, откуда никто не возвращался. А впереди, всего лишь в сотне шагов, в неглубокой заснеженной ложбине горбился темный силуэт вертолета — провисшие винты почти касались снега. Даже пулемет виден в приоткрытом люке — дулом на тропу...

Да, они все-таки пошли наверх. Арифметика проста: сзади сотня гвардейцев при полном вооружении — верная смерть; впереди — экипаж воздушной машины, человек пять-шесть. Правда, у них пулемет и отличная позиция — тоже верная смерть. Но все же: сто или пять?! Конечно, днем бы они не прошли, тропа из ущелья просматривалась вдоль и поперек, их перестреляли бы еще на дальних подступах. А вот ночью — совсем другое дело. Ночью в горах никто не ходит, и, стало быть, их здесь не ждут.

Стэн осторожно потрогал очки — надежно ли сидят? — не дай бог потерять! Бруно выудил из своего рюкзака эти штуковины на тропе, когда их тьма накрыла. Стэну тогда даже не по себе стало. С виду — очки как очки, легкие, в металлической оправе, неказистые. А нацепишь — всеильные боги! — ночи как не бывало!.. Очки ночного видения, вот как они назывались. Конечно, здесь, в Призенитье, никто о таких и не слышал. Простой бинокль — и тот редкость!

И одежда подходящая у них нашлась — вроде чехлов с капюшонами. Материя на ощупь совсем тонкая, на рыбьем меху, а влезешь туда, молнию — вззык, капюшон на голову — и как в печке! Красота... Комб называется.

Стэн погладил рукав, вздохнул. Странный материал, скользкий, будто жиром смазан, а не пачкает. Лежишь в снегу — и хоть бы что, словно на травке летом. Да-а, экипировочка у них что надо, любой позавидует. Вот бы такую — насовсем!

Чуть скрипнув снегом, подполз Бруно, залег рядом.

— Ну? — негромко спросил Стэн.

— Спят, — сказал Бруно. — В палатке, вон за

тем выступом... Четверо. Пятый — в машине. Зацепил ты его тогда...

Стэн произвольно погладил винтовку: ага, зацепил!..

— Так чего ждем? — возбужденно воскликнул Ян, всматриваясь вдаль. — Вперед!

Они с Лотой залегли по левую руку от Стэна и все время о чем-то шептались. Стэн досадливо отмахнулся, повернулся к Бруно.

— Не знаешь, где у него горючка? — спросил, кивая на машину.

— Внутри, в баках, — ответил Бруно. — Зачем тебе?

— А затем, — назидательно сказал Стэн, — что прорваться, может, и прорвемся, но утром они нас в минуту догонят и сверху — как баранов. Ясно? Сжечь ее надо к чертям собачьим!

— Зачем сжигать?! — вскинулся Ян. — Не надо сжигать! Хорошая машина, летает... Самим пригодится!

Глянул на Стэна весело, подмигнув. Дурак зеленый, выругался Стэн про себя, нашел время шутки шутить!

— Так, может, сам и поведешь? — бросил с усмешкой.

Ян пожал плечами.

— А что, могу и я!

— Нет уж! — вдруг подала голос Лота. — Пусть лучше Бруно, с ним надежней! А с тобой я налеталась — хватит!

— Также вспомнила! — рассмеялся Ян. — Это ж когда было?!

У Стэна сперло дыхание: чокнулись они, что ли?!

— Вы что, ребята, серьезно?

Тройка переглянулась, Ян подался ближе, заглянул Стэну в лицо.

— Ты, главное, не дрейфы! — заговорил убежденно. — Мы с Бруно эти машины наизусть знаем. Чего нам по снегу топать? Полетим, как люди!..

Стэн почувствовал, что у него ум за разум заходит. Черная сфера, они же на полном серьезе! Действительно собрались по воздуху... Ведь гробанемся же! Это ж сколько учиться надо, чтоб такие машины водить?! Темно, скалы кругом, пропасти — костей не соберешь! Обалдели, совсем обалдели!

— Значит, так, — решительно произнес Бруно. — Я беру на себя машину, а вы — палатку! Подержите их там, пока не запущу двигатель. Понятно?.. Вперед!

И не дав Стэну опомниться, скользнул вниз, в ложбину — тихо, как ящерица.

— И-э! — удало воскликнул Ян, вскакивая. — Где наша не пропадала?! Айда!

Кубарем покатился вниз по склону, увлекая за собой рыхлый снег — будто на игрищах. Следом заскользила Лота, обернулась, призывно махнула рукой. «Мать всех богов, — прошептал Стэн, вставая, — спаси и помилуй!..»

Брезентовые бока палатки облепил иней; было тихо, пилоты, похоже, дрыхнули без задних ног. На утопанном снегу — пустые консервные банки, окурки. Ничего живут пилоты, невольно отметил Стэн, позавидуешь!.. Бруно уже скрылся в люке, оттуда не доносилось ни звука.

Стэн замер напротив палаточной щели, у растяжек. С другой стороны застыла невысокая плотная фигура Яна. Он помахал рукой — мол, все в порядке, приготовься. Бешено колотилось сердце. Лота, постояв рядом, тихо шагнула к машине. Вдруг там что-то звякнуло, донесся сдавленный вопль — короткий, задушенный. Стэн напрягся, покрепче перехватил приклад. В палатке завозились, кто-то закашлял.

В машине опять звякнуло — на всю Седловину, потом зажужжало — резко, визгливо.

— Эй, эй!.. — сразу заорали в несколько глоток. Палатка заходила ходуном. Стэн рванул передние растяжки, завалил верх. Ян вдруг дико гикнул и прыгнул плашмя на матерчатую крышу. Внутри взвыли дурными голосами. В щель высунулась голова в круглом шлеме, Стэн с размаху хватанул по ней прикладом.

— Не двигайся! — заорал что есть мочи. — Кто вылезет — пуля в лоб!

Оглушительно кашлянув, застучал промерзший мотор. Дрогнули винты, пошли вкруговую, разгоняя снег, — все быстрее, быстрее. Рядом возник Ян, дернул: «В машину!..»

Наподдав сапогом по чьей-то выпуклости в палатке, Стэн бросился к люку. Из палатки пальнули — наугад, сквозь брезент. Винт всюю молотил воздух, в лицо полоснул снежный вихрь, оттолкнул. Согнувшись, Стэн с трудом ввалился внутрь.

На дребезжащем железном полу, скорчившись, лежал офицер с обморочным лицом. Ян с Лотой за руки тащили его к люку. Стэн посторонился, офицер мягко нырнул в снег, дернулся и вдруг быстро-быстро, ужом, пополз прочь. Ян захлопнул дверцу. Бешено взревел двигатель, машина задергалась, как в трясушке. «Сейчас развалится! — ужаснулся Стэн и глянул в маленькое круглое окошечко. Земля стремительно падала вниз. — Святая сфера, летим!!!»

Он изо всех сил вцепился в какую-то скобу, ноги предательски обмякли, желудок рванулся к горлу. Геликоптер вдруг круто завалился набок, обходя близкий склон. Внизу на снегу мелькнула распластанная скатертью палатка,

несколько суетящихся темных фигур — совсем игрушечных. Миг — и под машиной пропасть с отвесными стенами, дно в сизом тумане. Стэн зажмурился: летим, летим!..

Кто-то резко встряхнул за плечо: Ян! Сметется, зубы блестя.

— Айда в кабину! — прокричал в ухо.

Держась за его плечо, Стэн ввалился в какую-то дверь, ухватился за спинку сиденья. Кругом белый пластик, стекло, какие-то приборы, рычаги, кнопки — сам дьявол не разберется! В переднем кресле истуканом застыл Бруно, руки на штурвале. Лота — в таком же кресле, чуть сзади — прижалась лицом к окошку. Под машиной стремительно проносились черно-белая горная гряда, похожая отсюда на полузасыпанный снегом хребет дракона. Еще что-то прокричал Ян — ничего не слышно, грохот — будто внутри барабана.

Ян подтолкнул Стэна к креслу, усадил рядом с Лотой. Подмигнул: «Не робей, парень!» Стэн сжал зубы, унимая дрожь: вот, черт их дерит!..

Машина забиралась все выше; сбоку проплывал гребень Армагеддона — плоский, словно срезанный ножом. В центре — ровная черная впадина, как чаша. Оттуда и бил луч Оси. Вот она, Обитель богов, похолодел Стэн.

Луч вонзался в черное небо, быстро увязая в темноте. Там, куда он указывал, за чернильным гигантским сводом угадывалось слабое светящееся пятнышко. Сферополис, догадался Стэн. Внизу толстой извилистой змеей проплывало Ущелье семи ведьм. «Куда это они?» — вдруг опомнился Стэн, подался к Бруно.

— Куда правишь? — заорал в ухо. — В долину давай, там дорога!..

Бруно дернул плечом, даже не обернулся. Привстала Лота, притянула Стэна за шею.

— Не мешай ему! — крикнула. — В столицу летим! Все будет хорошо...

У Стэна опять, в который раз за сегодня, сперло дыхание. Во дают — в столицу! Он-то думал: перемахнут Седловину и все, сядут. Если, конечно, не гробанутся. Но в город?.. Это ж на другом конце света! Да и где они там приземлятся? На площади, перед храмом?..

В небе, точно над головой, зажглась белая звездочка — и пошла набухать: первый свет! Стэн снял очки, бережно спрятал в нагрудный карман комба. Мелькнула шальная мысль: авось, забудут?!

Быстро светалр. Стремительно, словно взрываясь, расширялась дыра в Зените, наливалась багровым, жадно поглощала тьму. Запылала горные хребты, вспыхнул воздух — утро! Оранжевый час.

Машина, казалось, зависла в розовой пустоте. Со всех сторон дыбилась земля, грозно нависала исполинской чашей без краев; здесь, с высоты нескольких миль, вся сфера была как на ладони. Над головой сквозь розовую фосфоресцирующую дымку смутно пробивались темные зеркальные пятна — Озерный край. Горы уже ползли назад и вверх — и теперь прицеливались горящими остроконечными пиками в хвост вертолету. Точно по курсу мохнатым оранжевым ковром вставал лес.

У Стэна невольно закружилась голова — дикое зрелище! Весь мир под Семью сферами — перед ним! Неба нет — одна пестрая вздыбившаяся земля, вот-вот готовая рухнуть вместе с горами, озерами, реками — и спрятаться негде!

Он откинулся на мягкую спинку кресла, перевел дух. Даже ему, горцу, не по себе, каково же должно быть этим!

Ровно стучал мотор. Ян и Лота прилипли к стеклам кабины — не оторвать. Возбужденные, друг друга локтями толкают, щеки горят, пальцами куда-то тычут. Довольные — страшно!.. Впереди — широкая спина Бруно, мощный загривок откинут назад. Этот головой не крутит, мордату все эти чудеса не в диковинку: и не такое видал! Прямой, невозмутимый, уверенный...

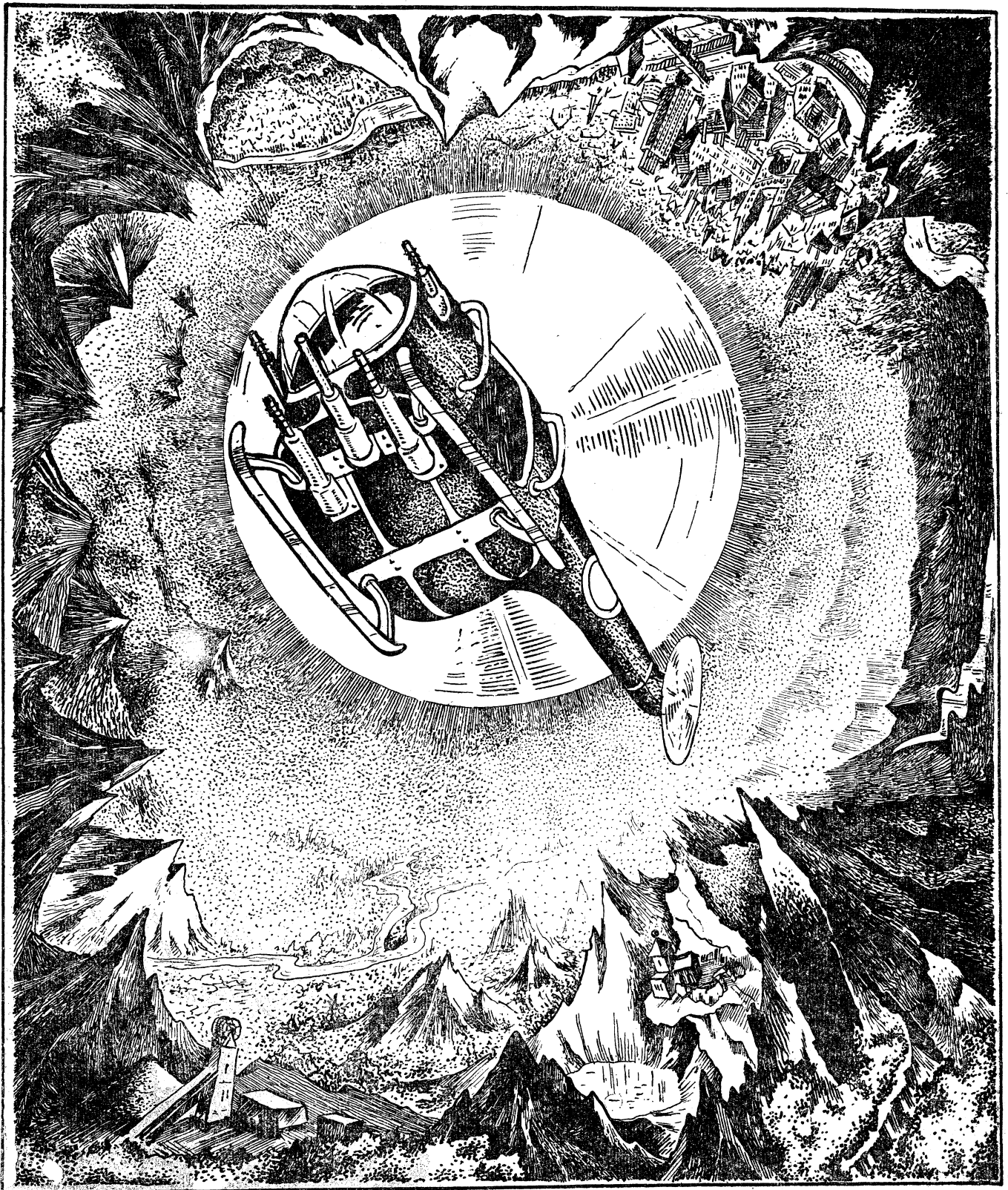
Стэн прикрыл глаза. А ведь, пожалуй, долетим, мелькнула мысль. Ребята не промах, куда хочешь пролезут. Настырные, и свое дело знают твердо: этого не отнимешь! Вот только ему, Стэну, от этого не легче. Ну, сядут они где-нибудь на укромной полянке близ города — зачем им там проводник? Зачем он им вообще понадобился — тоже вопрос?! Если пешком топать — еще куда ни шло, может, какая польза от него и была бы. А с вертолетом этим он и вообще — балласт ненужный. Вот то-то и оно!

Стэн незаметно потрогал винтовку, подтянул ближе — не прозевать бы!..

Он очнулся от сильного рывка. Тряхнул головой, плохо соображая: «Заснул, что ли?!»

Машину швыряло. Захлебываясь, ревел мотор. Бруно, как бешеный, крутил штурвал, стараясь выровнять вертолет. Что-то, надсаживаясь, кричал Ян, указывая вниз. Стэн прижался к стеклу. Черное небо, они падали! Под самым днищем с бешеной скоростью проносились какие-то полуразрушенные постройки, столбы, деревья. Винт вздымал вихри пыли, за машиной тянулся широкий дымный шлейф. Боги, куда их занесло? Сколько же он спал?

Рядом вжалась в кресло Лота, поблескивала оттуда неподвижными побелевшими глазами. Ян



вдруг подскочил, рывком натянул на нее капюшон комба. Обернул бледное лицо к Стэну, знаками потребовал: делай то же! Но Стэн мертво вцепился в подлокотники, чувствуя, как покрывается испариной: падаем, падаем!.. Ян подался к нему, заставил надеть капюшон. Что-то пробарабанило по корпусу — будто крупный град. В борту, сбоку, вдруг появились маленькие круглые дырочки. Это же от пуль, похолодел Стэн, инстинктивно втягивая голову в плечи. И сейчас же что-то сильно ударило в бок — тупо и больно. Все, обмер Стэн, схватился за бок ладонью. Пальцы обожгло — пуля! Крупная, пулеметная. Застряла в чехле в этом, почему-то не пробила. На излете, что ли?

Он не успел удивиться. Геликоптер круто завалило набок, и его чуть не выбросило из кресла. Обо что-то бешено замолотил винт, машину затрясло. Взвизгнул раздираемый металл, блеснуло пламя. Кабина мгновенно наполнилась удушливым дымом. Захлебнулся двигатель — машина ухнула вниз.

Тотчас тело вдруг сдавило со всех сторон — не шевельнуться. Стэн рванулся, задыхаясь. С ужасом увидел, как быстро и страшно начали распухать Ян с Лотой. Что-то бесформенное заполнило кабину. И взорвалось!

ОТВЕРГИ

В общем, как чувствовал — гробанулись мы, прямо в эти самые развалины! Само собой, это я потом сообразил, когда в глазах прояснилось... Сижу на куче песка, за спиной стенка — прислонили, значит. В голове — как ветром все выдуло: что, где, как?.. Перед глазами туман, в горле саднит, куда ни тронь — больно. Какие-то люди кругом мельтешат — морды вроде незнакомые. Впереди то ли пустырь, то ли площадь, вся в дыму. А в центре, задрав хвост к небу, догорает наш геликоптер — дым черный, жирными клубами.

Вот тут я мигом все вспомнил. Всесильные боги, значит — выкинуло меня или вытащило кто! А троице — капут! Сгорели ребята, почем зря... Что-то с ними такое случилось, там, в кабине, в последний момент — страшное...

Вцепился я в стенку, поднимаюсь кое-как: ничего, стою, и вроде все цело. Сразу несколько типов ко мне обернулись, тычут дула в живот. Так, думаю, все ясно, можно не рыпаться, тут обо мне позаботятся. Оглядываюсь тихонько. Винтовочки моей не видать — или в машине осталась, или прибрал кто. Жаль! Хотя чего уж тут жалеть?! Публика вокруг — та еще! Кто в чем:

пиджаки, куртки, мундиры... Непонятная братия, разношерстная. А вооружены неплохо, дробовиков да самопалов вообще не видно — винтовочки, автоматы, у одного на плече даже крупнокалиберный пулемет. Видать, этой хреновиной они нас и срубили.

Тут мне наподдали пониже спины — двигай! Только за угол заворотили, смотрю — тройка моя стоит полным составом, спинами к стенке. С виду целы, в комбах этих своих, морды черные, в саже, только белки светятся — чистые арапы! Ян мне зубы скалит, подмигивает: не дрейфь, мол! Вот чертово семя!

И хотите верьте, хотите нет, а на душе у меня полегчало — словно груз свалился. Слава богам, живы! Хорошо ли, плохо ли — живы! Только что же такое с ними произошло там, в кабине, перед тем, как грохнулись мы? Ведь точно помню: раздуло их, как мехи кожаные, будто надул кто?!

Хотел спросить потихоньку, куда там! Поворотили нас — и марш-марш вперед, через площадь аллюром. Шибко погнали, будто гнался за ними кто — не до расспросов! А я никак не соображу — с кем это нас судьба свела? Для ватажников уж больно вооружены справно. Да и какая ватага решится в геликоптер сфероносцев пулять?!

Главным у них был один бледный хилак в кургузом пиджачке. Маленький, а крикливый — жуть! Пистолетом все размахивал — нервный, видать. Орет что-то, надрывается, а я не слышу: уши у меня заложило...

Долго нас гнали, все по каким-то улочкам захлапленным, через пустые дворы, потом подвалами. Похоже на брошенный городок, в районе Больших руин их много. Если так, то отсюда до столицы — рукой подать. Выходит, хорошо я в машине дрыхнул, язви его в душу!

В конце концов загнали нас куда-то под землю: подвал не подвал, окон нет, а светло. Под низким бетонным потолком странные светильники, вроде стеклянных колб, на шнурах висят. Свет от них желтый, яркий, глаза режет. Помещение большое и народу — не продохнуть. Разный народ, одет чисто, даже женщины есть; кругом столы, стулья, шкафы железные, пирамиды с оружием. Вдоль стен — здоровенные стеллажи с книгами. Много книг, я и не видел столько, а ведь дед мой, покойник, всю жизнь книжки собирал.

И тут я прозрел. Никакие это не ватажники, куда там! Отверги это, самые опасные типы под Семью сферами — как говорится, черт им не брат! Да-а, вот уж действительно, из огня да в полымя!

Хилак наш сразу куда-то в угол юркнул, там

за столом сидел очкарик один, весь книгами обложен, только лысина сверкает. Главарь, что ли? Ну, все физиономии, натурально, на нас — глазают, как на привидения. И то верно: вид у нас, прямо скажем, диловатый. Морды черные, в копоту, да еще чехлы эти блестящие. Они от огня, видно, усохли, обтягивают, словно перчатки, и сразу видно, кто есть кто: у Лоты фигура — дай боже! Покосился я на своих: понимают хоть, куда мы влипли? Ни черта они, по-моему, не поняли, озираются с интересом, будто в гостях. А ведь яснее ясного: попали мы в штаб-квартиру отвергов, и черта с два мы отсюда живыми выйдем! Народ отчаянный, ни в кого не верят, никого не признают, никого не боятся. А вы с голыми руками: вся поклажа тройки в вертолете распроклятом сгорела, и винтовка моя тоже — тютю!..

Гляжу, вылезает из-за стола очкарик этот лысый, к нам шлепает брюхом вперед — толстый, как боров. Плешь так и сверкает, словно воском натертая. Остановился возле, руки на живот сцепил, оглядывает. Молча. Глазки маленькие, жиром оплыли, но цепкие. Долго глядел, все на троицу, меня, видать, сразу раскусил, зато остальные — не по зубам! Даже очки на лоб полезли.

— Кто такие? — восклицает наконец. — Откуда?

Голос тонкий, бабий. Открыл я было рот, да тут же и захлопнул: ну, что тут скажешь?! Моя личность вряд ли кого заинтересует, а троица пусть сама выкручивается. Тут особо не потемнишь, отверги народ дотошный!

— А вы кто? — нахально рычит Бруно в ответ. — Какого дьявола вы в нас палили?.. Мы вас не трогали!

У лысого очки чуть не свалились, глазки выпучил, глядит, как замороженный.

— Вы что, — говорит изумленно, — не поняли, кто мы?!

Вижу, Ян на меня зыркнул: мол, выручай. Ладно!

— Нет, отчего ж, — говорю. — Отверги вы!.. То есть эти, — спохватываюсь, — атеисты!

Отвергами их в народе прозвали, поскольку они всех богов отвергают — и старых, и новых. А себя они атеистами кличут. Все одно — безбожники!

Переглянулись мои ребята — дошло, наконец! Лота вперед выступает, капюшон с головы долой, волосы по плечам.

— Мы бы хотели поговорить с вами наедине!

Тихо вокруг стало, народ рты пораскрывал. Я ведь это сразу почувствовал: было в ней что-то такое, отчего руки сами собой по швам вытягиваются. То ли власть какая, то ли сила внутрен-

няя — не поймешь! Трудно было бы ей отказать — железным надо быть.

Глянул на нее толстяк снизу вверх, очки поправил.

— Идите, — говорит, — за мной!..

Прошли через весь подвал, в стене — железная дверка. Открывает ее лысый, тройку пропустил, и только я следом... «Стоп, — говорит, — парень! Ты пока здесь побудь — вызову!..» И хилыку этому кивает: «Присмотри!»

И получилось: они там, а я — у двери.

Хилык со своим воинством рядом стоит, поглядывает на меня хмуро. И по морде видно, что, будь его воля, шлепнул бы меня тут же без разговоров. Ватажника во мне признал, не будешь же тут объяснять?! А с ватажниками отверги не церемонятся. Известно: где отверги, там ватаг нет. С безбожниками вообще никто не связывается — крутой народ. Дисциплина у них, как в армии, и оружие что надо. С кругачами — война кровная: первые враги экзарха и Святого храма, кругачи за ними по всему Семи-сферью охотятся, как за псами бешеными. Раньше их на крестах вдоль трактов выставляли — дед еще застал, рассказывал; ну, а теперь, если кого заловят, направляют в Храм, на спасительные люстрации. Очищают, значит, от ереси и скверны... Встречал я кой-кого после этих самых дел. Самые лютые фанатики, за богов сферы — в огонь и в воду! А глянешь им в глаза — жуть берет! Пусто там, будто все у них под черепом выскоблено до блеска. Кукла куклой!

Короче, с какого края ни глянь — плохо наше дело. Нельзя нас отсюда выпускать: а ну как кругачей приведем?.. В общем — безнадега.

Тут как раз дверь приоткрывается, лысый меня требует. Захожу. Тесная каморка с голыми бетонными стенами без окон, с потолка светильник этот чудной свешивается — как раз над лысиной толстяка. Он за маленьким столиком приютился, а напротив, на скамье, рядом — троица. У стены койка, в полу железный квадратный люк, его я первым делом приметил — на всякий пожарный.

Не знаю, что эта компания наплела лысому, но физиономия у него прямо дыней вытянулась, честное слово! Только я вошел, он как гаркнет:

— Имя?..

Я ответил — чего скрывать-то?.. И — пошло, поехало! Как начал он меня потрошить, я даже взмок весь! И сколько лет, и где родился, и где жил, и кто родители, и как их звали... Всю подноготную вызнал, в жизни мною никто так не интересовался. Форменный допрос — видать, толстяк на этом собаку съел. Выжал он меня всего, как лимон, губами толстыми пожевал.

— Что ж,— говорит,— с этим ясно... А теперь, парень, расскажи-ка мне, как ты в вертолете оказался? — Прищурился и добавляет строго: — Только не врать, понял? Это в твоих интересах!

Ну, что тут будешь делать? Ясно, для него главное — не моя биография, а о троице все разузнать. Небось, они ему тут такого насочиняли — чертям тошно! Ну, а мне-то что прикажете делать? Ведь если скажу все, отверги их как пить дать шлепнут — со шпионами храмовников тут разговор короткий! А темнить начну, мигом расколют, и тогда уж точно — ногами вперед!

Гляжу, Ян мне подмигивает ободряюще: давай, не бойся! Ну, ладно, думаю, была не была, авось пронесет! И выдал все, как было: про Комбинат, Станцию, рейтаров и серебристых, про Обитель монахов и что там случилось, и как мы в темноте на Седловину топали, и как захватили машину кругачей. Словом, всю правду рассказал — куда деваться? — вот только подозрения свои пока при себе оставил, это, извините, никого не касается, пусть толстяк сам выводы делает.

Выдал — и чувствую: если он нам поверит, последний дурак будет, я бы ни в жизнь не поверил, и никто, по-моему, такому не поверит, кроме самых распоследних идиотов!

Долго лысый молчал, два раза очки снимал и все тер, тер — до дыр, наверное, протер. Потом и говорит:

— Ну что ж, давайте знакомиться... Меня зовут Раден!

Вот и пойми после этого, что у него на уме, у дьявола лысого! Ох, и хитрый мужик, скажу я вам...

Смотрю, ребятки мои враз повеселели. Бруно первым вскочил, руку ему пожал, представил всех по именам, даже меня не забыл. «Наш,— говорит,— проводник и товарищ — Стэн!..» М-да... Молодые просияли, улыбаются — наверное, думают, толстяк сейчас извинится, что ихний вертолет срубили, напоит-накормит и отпустит с миром! Как бы не так, держи карман шире!.. Уж я-то чувствую: задумал он что-то, неспроста вдруг таким вежливым стал...

Уселся он поудобнее, руки на животе сцепил, зенки в потолок — и ни с того ни с сего повел речь о том, как трудно им, бедным отвергам, живется, никто их не понимает, никто не любит, а ведь они жизни свои за нас, идиотов, кладут... и о том, как кругачи о них всяческие мерзости распускают, а народ уши развесил — верит, привык верить, приучен к этому сызмальства, а чтоб собственными мозгами раскинуть — это ни-ни, не может, не умеет, да и не хочет, верить-то про-

ще... а ведь им, отвергам, на самом деле ничего для себя не нужно, нет у них никаких особенных сокровищ, сами с хлеба на воду перебиваются, единственное, чем действительно владеют — знаниями! — вот это да, что есть, то есть, именно за это их кругачи и ненавидят, и, между прочим, боятся, потому что известно отвергам кое-что такое, что кругачи уже два столетия от народа скрывают — тайна Свершения! Ведь они, отверги, народ образованный и верят только в одно божество: Ее Величество Науку, а она говорит точно, что вовсе не боги всех людей под сферу запрятали, как твердят жрецы, а люди — сами себя, своими собственными руками, вот ведь какие дела...

Снял лысый очки, опять тереть начал — глазки красные, блестят, на меня смотрит. Само собой, я уж давно догадался, что распинался он вовсе не для меня. Эту свою ересь он моим приятелям предназначал — прошупывал, значит: чем дышат, как отнесутся! Ибо есть это самая жуткая крамола под семью сферами, и пахнет это, скажу я вам, люстрациями! Было б куда — сбежал бы, ей-богу! А блаженные мои, гляжу, с восхищением на него взирают, не понимают, психи, что мы теперь с отвергами одной веревочкой повязаны — ересь, она и есть ересь!

Тут Раден этот достает какую-то бумажку и нам под нос сует.

— Вот в этих,— говорит,— уравнениях — весь секрет нашей сферы! Это и есть главная тайна, которую скрывает от нас вся эта сволочная банда во главе с экзархом!..

Вижу, разволновался старикан малость, очки прыгают. Я, конечно, никакого секрета там не узрел: дьявол их разберет, я в этой математике — ни бельмеса! А вот компания моя в этот самый листочек прямо впилась — неужто соображают чего? Ян вдруг поднимается, руку тянет: «Разрешите?..»

Взял он эту бумажку у Радена, достал из кармана карандашик и что-то там приписал, значки какие-то.

— Вот,— говорит,— так понятно будет? — И протягивает обратно Радену.

Толстяк только глазами хлопает, вроде — не доходит... Долго глядел. Потом вижу — губы затряслись, физиономия пятнами пошла.

— Так это же, это же... — сипит и за ворот хватается.

Ян кивает, улыбается — довольный; на меня глянул — подмигнул. Ну дает, конопатый!

Не знаю, чем бы дело кончилось, только дверь вдруг распахивается и в комнату пулей влетает хилак тот нервный — морда, как мел, глаза бешеные.

— Кругачи!!! — орет с порога. — В туннель прорвались! Уходить надо...

Ну, думаю, началось! Раден подскочил — стул в сторону — и за сердце.

— Как в туннеле?! — хрипит. — А где же твои люди были, гад?!

— Да они как с неба свалились! — кричит хиляк. — Целый полк! Взорвали завал и по канализации — сюда!..

Переглянулся я со своими — без слов все ясно! Если с неба — значит, за нами.

ЯН

Когда они выбрались на поверхность, день уже клонился к вечеру. Черное солнце выбросило длинные волнистые отростки — гигантский спрут на светлой зелени сферы — и теперь медленно, словно нехотя, пульсировало, испуская прозрачные радужные сфероиды.

Труба, по которой они ползли, выходила в русло давно высохшего канала. Дно и крутые склоны буйно заросли чертовым кустом; сверху нависали разлапистые кроны елей. В тени деревьев набухали и беззвучно лопались бледно-розовые поганки; кое-где копошились прозрачные, чуть видимые мнимоны.

Стэн сидел на корточках, жадно вдыхая теплый пахучий воздух — не мог надышаться. Грудь распирало, до сих пор чувствовалось удушье. Рядом на валунах сидела тройка. Бруно курил, старику неподвижный взгляд куда-то в сферу; Ян с Лотой негромко переговаривались. Временами Стэну казалось, что они спорят, даже ругаются — у обоих были возбужденные недобрые лица.

Раден пластом лежал на склоне, по-рыбьи хватая воздух широко открытым ртом. Стэн взглянул на него с жалостью. Да-а, пожалуй, старику досталось больше всех. И ведь если бы не он — все бы там легли!..

Разгром был полный. Сфероносцы обложили развалины со всех сторон, перебили охрану — ничего нельзя было сделать. Видимо, они обнаружили остатки вертолета и быстро сообразили, чьих рук это дело.

Уходили крысиным лазом: узкая, как кишка, труба с гнилым воздухом, проложенная через весь городок. Отряд хиляка остался прикрывать, это дало возможность остальным рассеяться по старой канализационной сети города. Может быть, кто-то и уцелел, но сюда, на поверхность, вышли только они и Раден. Старик отлично ориентировался под землей — это их и спасло.

С тех пор, как Ян написал что-то на той бу-

мажке с формулами, Раден не отходил от него ни на шаг. Стэн чувствовал: толстяк о чем-то догадывается! Что-то он такое понял, о чем никак не может догадаться сам Стэн. Ведь теперь ясно: никакие они не шпионы храмовников, с теми бы Раден говорил иначе. Тут что-то другое, ведь старик на этого молокососа белобрысого как древневер на икону — чуть не молится! Вот и пойми их после этого?!

На дне канала было тихо; слабо шелестели ели над головой, мирно звенели мухи, привлеченные запахом пота. Рядом журчал ручеек с мутной водой — все, что осталось от полноводного когда-то канала.

Тяжело кряхтя, приподнялся Раден, оперся сзади на руки. Обвел всех мутными глазами.

— Пора!.. — сказал задушенно. — Я отведу вас в леса, к хилистам... Они нас примут... Передохнем — и в Большие руины! Там наши...

Бруно вынул трубку, хмуро покачал головой. — Нет! — сказал твердо. — Нам в столицу надо!

Молодые сразу обернулись, выжидающе уставились на Радена. Какая столица, ужаснулся Стэн. Ведь кругачи не идиоты — ясно, куда тройка метит! Туда сейчас и муха не проскочит!

Раден долго глядел на них красными воспаленными глазами — у него тряслась голова.

— Хорошо, — вдруг сказал хрипло, — я пойду с вами! Одним вам не пройти...

Стэн чуть не вскрикнул: да он в своем уме?! Сам, добровольно, в этот змеюшник!..

Бруно с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. Вскочил Ян, помог старику подняться.

— Будет трудно, Раден, — сказал негромко. — Но... мы тебя понимаем!.. Спасибо!..

Они пошли прямо по руслу канала, продираясь сквозь заросли. Стэн тащился последним, автоматически переставляя ноги и прикрывая лицо от колючих веток. Где-то в груди застыл холодок обреченности: куда, зачем, неужели им всем жить надоело? Что ж они такое задумали, в конце концов, ради чего такой сумасшедший риск?.. Старик, конечно, догадывается, и он с ними! Это надо как следует обдумать — почему тройка так быстро снюхалась с отвергами. Что у них общего?.. Ну, в богов не верят, ну, образованные — что еще?! Определенно что-то есть еще, главное — но что?..

Стэн потряс головой — тупо ломило в висках, мысли расползались. Проклятая труба, выругался он про себя. Ведь чуть не задохлись!..

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФАМИЛИИ

**Валентин
ВАСИЛЬЕВ**

Встретив невзначай Екатерину Сумарокову, Михаил Васильевич Ломоносов ласково улыбался и говаривал:

— Вот умница барышня! В кого такая уродилась?!

Конечно, он знал «в кого», он состоял в давней вражде с А. П. Сумароковым. А дочь своего литературного соперника глубоко уважал за ее литературное дарование.

Гордился дочерью-поэтессой и Александр Петрович Сумароков. Ее стихи и песни печатались в журналах.

На Екатерине Сумароковой женился известный драматург Яков Борисович Княжнин. Драматургом стал их сын Александр Княжнин. На сцене ставились его пьесы «Андромаха и Персей», «Жених трех невест» и другие. Жена Александра Яковлевича Княжнина Варвара Александровна печатала стихи в журнале «Ипокрена».

Литературных династий и семей можно назвать немало.

Вот, скажем, династия Майковых. Михаил Александрович Майков, директор Демидовского училища высших наук, издал «Собрание басен и стихотворений». Стихотворцем был его брат Аполлон Александрович Майков, директор императорских театров. Его сын Николай стал живописцем, жену Николая Евгению Петровну современники знали как автора стихотворений, повести «Женщина», рассказов. Их сын Аполлон Николаевич Майков — известный русский поэт. Два его брата, Владимир и Леонид, тоже были литераторами.

Известно, что стихами баловались отец великого поэта С. Л. Пушкин, а также младший брат Л. С. Пушкин и сестра поэта О. С. Павлищева. Приверженцем «легкой

поэзии», членом литературной группы «Арзамас» был дядя великого поэта — Василий Львович Пушкин, чья сатира «Опасный сосед» пользовалась популярностью. Отъявленным вольтерьянцем слыл дальний родственник великого поэта — Алексей Михайлович Пушкин (1769—1825), писавший стихи и переводивший на русский язык произведения Мольера.

Хорошо известна писательская семья Аксаковых. Отец, Сергей Тимофеевич, автор «Семейной хроники», сыновья Иван и Константин — публицисты, поэты, общественные деятели.

Довольно многочисленна династия Толстых. Широко известно имя Алексея Константиновича Толстого, автора романа «Князь Серебряный», романа «Средь шумного бала», стихотворений. Он был дальним родственником Льва Николаевича. Писателями стали Илья Львович (псевдоним Илья Дубровский), писал повести, рассказы, стихи), Лев Львович (псевдоним Львов, писал рассказы и пьесы), Сергей Львович (псевдоним С. Бродимский, писал рассказы, воспоминания об отце, семье Толстых). В родстве с великим писателем земли русской состоял и Алексей Николаевич Толстой.

Литературный дар «по наследству получил» Валерий Яковлевич Брюсов: его дед Александр Яковлевич Бакулин (1813—1894) был автором множества басен, лирических стихов, а также романов и повестей.

Любопытны литературные традиции семьи великого русского поэта А. А. Блока. Поэтессой и переводчицей была бабушка поэта Елизавета Григорьевна Бекетова (Карелина). Писала повести и сказки в стихах тетка поэта Екатерина Андреевна Бекетова. Другая его тетка — Мария Андреевна сочиняла стихи, написала биографию А. А. Блока.

Еще об отцах и детях. Сочинял и публиковал стихи сын Карамзина Александр. Дочь великого русского писателя Любовь Федоровна Достоевская (1869—1926) писала повести и рассказы, издала книгу воспоминаний об отце. Большой известностью пользовались Д. И. Минаев и его сын Д. Д. Минаев, особенно последний — талантливый поэт-сатирик, сотрудник журнала «Искры».

Известным поэтом стал Александр Николаевич Плещеев. Его сын Александр Александрович писал пьесы, рассказы, путевые очерки. Приобретшая в начале нашего

века довольно скандальную известность своим романом «Гнев Диониса» (с проповедью «свободной любви») Евдокия Нагродская была дочерью писательницы Авдотьи Яковлевны Панаевой.

У Леонида Николаевича Андреева все три сына стали литераторами. Вадим — автор книг «Детство», «Дикое поле», Даниил писал стихи, посмертно издан его поэтический сборник «Ранью заревою», Валентин писал рассказы.

Отец выдающегося советского писателя Л. М. Леонова Максим Леонов известен как талантливый стихотворец, один из организаторов суриковского кружка «поэтов из народа».

Были поэтами отец и сын — Эдуард и Всеволод Багрицкие. Советские читатели знают роман «Балтийское небо» и другие произведения прозаика Николая Чуковского, сына К. И. Чуковского.

Было множество писательских супружеских пар. Кроме широко известных назовем супругов Николая и Александру Анненских, Петра и Софью Боборыкиных, Николая Минского и Юлию Яковлеву (под псевдонимом Юлия Безродная печатала рассказы). Супругами были поэты Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, Федор и Авдотья Глинки, Александр и Александра Ржевские, Александр и Елена Вельтман.

А теперь обратимся к братьям и сестрам — литераторам. Мы хорошо знаем Д. И. Фонвизина, автора «Недоросля». Его брат Павел, сенатор и дипломат, печатал стихи в журналах «Полезное увеселение» и «Доброе намерение», переводил произведения французских и испанских писателей.

В прошлом веке популярными были роман «Бедные дворяне», драмы «Мишура» и «Отрезанный ломоть» Алексея Потехина. Одновременно шли на сцене драма и комедия «Злоба дня» и «Богатырь века» Николая Потехина, который был драматургом, актером и режиссером, за связи с Герценом его сажали в крепость.

Широко известны произведения В. Г. Короленко. Но мало кто знает, что своим учителем он называл брата Юлиана Галактионовича, человека действительно талантливого, журналиста и поэта. Стихи Юлиана Короленко печатались в «Русской мысли» и других журналах.

Были братьями писатели Федор и Михаил Достоевские, Василий и Николай Курочкины, Василий и Владимир Немировичи-Дан-

ченко. Были сестрами писательницы Надежда и Софья Хвощинские. Первая из них писала повести и романы под фамилией В. Крестовский. Софья тоже писала романы, но известность получила как автор статьи о Радищеве, запрещенной цензурой и появившейся анонимно в 1861 году.

МЯТЕЖНИК

Владимир
САЗАНОВИЧ

Адольф Янушкевич родился в семье служащего самого богатого в Литве и Белоруссии княжеского рода Радзивиллов. В Центральном государственном архиве СССР в Ленинграде сохранилась запись в метрической книге несвижского приходского костела о том, что в 1803 году «мая 29 крещен младенец Адольф-Михайло-Валериан-Юлиан Янушкевич». Дома старшие часто вспоминали, что они сражались за свободу и независимость Польши в войсках Гадеуша Костюшко, что Костюшко был близким родственником матери Адольфа — Текли. Юношей Янушкевич принимает активное участие в движении свобододолюбивых студентов, становится членом кружка «голубых» филоретов, которыми руководил Ян Чет, ближайший друг Адама Мицкевича.

Янушкевич оканчивает Виленский университет и поселяется в Каменец-Подольском. Казалось, все предсказывало ему хорошее будущее: и доверие жителей, которые выбрали его депутатом сейма, и любовь удивительной девушки Стефании, и уважение родных.

Немного беспокоило здоровье. Ему чуть перевалило за 25 лет, а врачи уже советовали лечиться на водах. Весной 1829 года Янушкевич отправляется в Карловы Вары. А потом было удивительное путешествие по Европе: Австрия, Италия, Швейцария, Германия, Франция. В Риме он встретился со своим земляком Адамом Мицкевичем, который позже в третьей части своей поэмы «Деды» вывел его под именем Адольфа.

По Европе шел революционный 1830 год. Янушкевич возвращается домой. Встречи в Варшаве с руководителем революционного движения Иоахимом Лелевелем и Юлиушем Словацким, у которого

он жил на квартире, определили дальнейшую судьбу юноши: он становится революционером, борцом за освобождение родины. Но первое же выступление Янушкевича с оружием в руках кончается трагически. Как записано в архивном документе со слов самого Янушкевича, «в начале апреля 1831 года во время патрулирования под Мацейовицами захвачен казаками». Захвачен он был в бессознательном состоянии, так как получил семь ран, упал с лошади. Товарищи, видевшие это, посчитали, что он убит, о чем есть запись в рапорте.

Но в плену Янушкевич оправился от ран. Вместе с другими военнопленными его везут в глубь России. В сопроводительных бумагах он значился как «Чнушевич». Только в Вятке власти обнаружили, кого они захватили.

Из столицы следует приказ: «Его императорское величество повелеет изволил: военнопленного подпоручика польской мятежной армии... Янушкевича... отправить под арестом в Киев к господину генерал-фельдмаршалу графу Сакену для предания суду. Бенкендорф».

Почему сам император принял такое «участие» в судьбе Янушкевича? Оказывается, граф Чернышев из главного штаба сообщил Бенкендорфу:

«По соображении всех обстоятельств, до сего Янушкевича относящихся, открывается, что он тот самый, который писал еще из Варшавы в Вильно родному брату своему Евстахию, сообщая ему свои дерзкие суждения о нашей армии и превознося похвалами мятежников, склоняя его к возмутительным действиям, после чего Евстахий Янушкевич оставил Вильно, был одним из главных зачинщиков возмущения в г. Апшнянах и участвовал в мятеже до самого прекращения оного...»

В конце 1831 года Адольф Янушкевич был заключен в Киево-Печерскую крепость. Во время следствия его уговаривали признаться в том, что он совершил бессмысленный поступок. В ответ услышали: «Что сделал — то сделал сознательно, по доброй воле, что каждый настоящий сын отечества должен посвятить ей всю свою жизнь».

В архиве сохранился рапорт Сакена царю от 2 марта 1832 года, где перечисляются все «преступления» подпоручика Янушкевича, и в заключении сказано: «согласно с приговором суда: казнить его, Янушкевича, смертью, повесить...» И тут же данной ему властью Са-

кен подтверждает приговор и решает: Янушкевича, «лишив носимого им звания и дворянского достоинства, сослать в Сибирь на поселение, а имение его и денежный капитал, действительно ему принадлежащий, взять в казну...»

В Гобольске Адольф Янушкевич получил от невесты кольцо — свидетельство верности, желания выйти за него замуж. Но годы уходили, надежды рушились, и он не мог смириться с тем, что из-за него похоронит себя в глуши юная любимая. Он должен страдать один. Он внушает Стефании мысль, что надо расстаться и... отсылает невесте кольца.

В Ишиме А. Янушкевич знакомится с русским поэтом-декабристом Александром Одоевским, у которого была сходная с ним судьба. А. Одоевский посвятил своему ишимскому другу стихотворение «В странах, где сочны лозы виноградные...»

С 1841 года Янушкевич в Омске работает в Пограничном управлении сибирскими киргизами.

Мужественный человек, он ни разу не склонил свою гордую голову ни перед царем, ни перед его грозными слугами — ни разу не писал прошения о помиловании. У Янушкевича осталась только работа, в ней он находил забвение. Частые выезды в степь, участие в большой экспедиции, которую возглавлял генерал Вишневицкий, изучение казахского языка... Впечатления от путешествий Янушкевич подробно описывает в письмах друзьям и родным, ведет дневниковые записи.

А годы шли, все трудней было «ходить в канцелярию», одолевать болезни. И вдруг поворот в судьбе. Брат Евстахий, эмигрант, познакомился в Карловых Варах с Анатолием Демидовым, владельцем нижнетагильских заводов, попросил всемогущего магната заступиться за страдальца. Демидову удалось добиться разрешения на переезд Адольфа Янушкевича в Нижний Тагил, куда он и прибыл в феврале 1853 года.

Высокообразованный, трудолюбивый, душевный и добрый, Адольф Янушкевич совершенно завоевал сердце приехавшего в Нижний Тагил в середине 1853 года Андрея Карамзина, который женился на вдове Демидова. Карамзин решительно обещает Янушкевичу добиться его освобождения. В архиве III отделения хранится собственноручный рапорт жандармского полковника А. Карамзина, который рвался за польского революционера

Янушкевича и просил освободить его из ссылки.

Но Андрей Карамзин погиб на Балканах. Дело, начатое мужем, продолжала вдова Карамзина — Аврора. Ее письма и прошения на французском языке пестрят в деле Янушкевича. Аврора добилась, правда, уже при новом царе, что Янушкевичу разрешили вернуться.

В июле 1856 года Адольф Янушкевич, пробыв в сибирской ссылке 25 лет, переступил порог родного дома. Но он уже был неизлечимо болен туберкулезом. Менее чем через год он умер.

После смерти А. Янушкевича его друг, поэт и революционер Густав Зеленский собрал все его письма, дневники и отvez их в Париж братьям Рамуальду и Евстахию. Семья решила увековечить память о старшем брате и, отобрав часть дневников и писем, издала на свои средства книгу. Она вышла в Париже на польском языке в 1861 году под названием «Жизнь Адольфа Янушкевича». В 1875 году в Берлине вышло второе издание книги.

Сейчас книга А. Янушкевича берлинского издания в одном экземпляре хранится в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Она переведена на русский язык и в 1966 году была издана в Алма-Ате.

ИЗ СТАРИННОГО РОДА...

**Владимир
АРИНИН**

Константин Паустовский в одной из своих книг, рассказывая о семье Булгаковых, из которой вышел знаменитый писатель, заметил: «Такие семьи с многолетними культурными и трудовыми традициями были украшением провинциальной жизни, своего рода очагами передовой мысли. Не знаю, почему до сих пор не нашлось исследователя (может быть, потому, что это слишком трудно), который проследил бы жизнь таких семей и раскрыл бы их значение для одного какого-нибудь города — ска-

жем, Саратова, Киева или Вологды».

В этом материале речь пойдет о старинном роде Алябьевых. Алябьевы были связаны с жизнью многих русских городов...

В 1779 году советником Вологодской казенной палаты был назначен полковник в отставке Александр Васильевич Алябьев. В его ведении было управление всеми таможенными на Севере. Он занимался также организацией пограничной сети таможен в Архангельской губернии.

Несмотря на свои довольно высокие официальные должности, особенно в последующие годы, уже после отъезда из Вологды, Алябьев, видимо, придерживался довольно прогрессивных взглядов. Его жена, Анна Андреевна, была близкой родственницей известного просветителя Н. И. Новикова. В семье Алябьевых увлекались литературой, музыкой и другими искусствами.

В Перми, где А. В. Алябьев служил вице-губернатором, он проявлял заботу о жизни горнорабочих, стремился облегчить их тяжелый труд и их участь. В Тобольске, где после Перми он занимал высокий пост губернатора, Алябьев покровительствовал ссыльному, «государственному преступнику» Александру Радищеву, содействовал развитию искусства и культуры в Сибири.

В Тобольске в многодетной семье Алябьевых в 1787 году родился сын Александр, будущий известный композитор, автор всемирно известной песни «Соловей» (на слова Дельвига) и множества других сочинений.

Казалось, Александр Алябьев — баловень судьбы: богат, прекрасно образован, талантлив, с молодых лет его музыкальные сочинения имели успех. Во время наполеоновского нашествия, движимый патриотическим долгом, он вступил в армию, участвовал во многих боях. Он дружил с Денисом Давыдовым, участвовал в «битве народов» под Лейпцигом, вступил в ряды победоносной русской армии в побежденный Париж.

В феврале 1825 года произошел резкий перелом в судьбе А. Алябьева. Была крупная картонная игра, проигравший, некто Времев, отказался платить, произошла ссора, дело дошло до рукоприкладства. Через двое суток Времев скоропостижно умер. Прошел слух: умер от побоев. Алябьев

и его приятель Шатилов были обвинены в убийстве и заключены в тюрьму. Вина Алябьева не только не была доказана, но и опровергнута. Но тем не менее композитор был лишен чинов и награды, сослан в Сибирь, в Тобольск, затем находился долгое время в Оренбурге и на Кавказе. Лишь после десятилетней ссылки ему было разрешено вернуться в Москву.

Знаменитый «Соловей» был создан во время следствия — в тюремной камере. «Соловей» зазвучал по всей России. Но большая часть творческого наследия композитора (он умер в 1851 году) оставалась неизвестной и неизвестной до советского времени. Алябьева, как ни странно, считали любителем, дилетантом.

В Вологодском областном архиве хранятся документы о других представителях рода Алябьевых. Наиболее известным из них был уездный предводитель дворянства Василий Федорович Алябьев. В его семье в 1812 году родилась дочь Сашенька, которая впоследствии прославилась на всю Россию как... красавица.

Александра Алябьева не совершила в своей жизни ничего выдающегося. Она была только красавицей, и это само по себе редкий, как и талант, дар, а XIX век умел ценить женскую красоту. К тому же ее имя связано с именами выдающихся людей того времени, замечательные русские поэты писали о ней. Поэт Петр Вяземский в письме Пушкину 26 апреля 1830 года называет красоту Алябьевой «классической» в сравнении с «романтической» красотой Натали Гончаровой. В стихотворении Пушкина «К вельможе» говорится о «блеске Алябьевой» и «преlestи Гончаровой». Несколько иначе отнесся к Алябьевой Лермонтов. Он тоже ценил ее красоту, но его эпиграмма носит сатирический характер:

Вам красота, чтобы блеснуть
дана;
В глазах душа, чтоб обмануть,
видна;
Но звал ли вас хоть кто-нибудь:
она?

В 1832 году Алябьева вышла замуж за гусарского офицера Киреева. Пушкин был знаком с ним.



ТРАЕКТОРИЯ

Повесть

Александр ЛЕОНИДОВ

Рисунки Николая Павлова



29.

Старинное, красного кирпича, здание с башенками вырастает перед нами сразу, едва мы выходим из-за угла на улицу Пушкина.

— Лариса Михайловна, может, позвоним в информационный центр? — предлагает Павел, кивая в сторону вывески, сообщающей, что в этом здании размещается военный комиссариат.

За стеклянной перегородкой прапорщик с повязкой дежурного на рукаве. Павел прикладывает к стеклу служебное удостоверение и просит разрешения воспользоваться телефоном.

— Девушка, это Черный из городского управления внутренних дел, — набрав номер, говорит он. — Мне бы справочку... Пароль?... Хризантема... Репкин Иван, между сорока и шестидесятью...

Окончание. Начало см. в № 11—12 за 1986 г. и в № 1 этого года.

На другом конце провода, видимо, сомневаются в успехе — слишком скудны данные. Паша Черный, косясь на меня, виновато объясняет, что, к сожалению, ничем другим не располагает. Ждет ответа с прижатой к уху трубкой, а я, сидя у батареи, гляжу на его непривычно задумчивое лицо.

— Нет такого? — хмурится Павел. — Может, созвучная фамилия?.. Приехать? — Что-то вспомнив, он добавляет: — Девушка, а Надя далеко?.. Вышла-а...

Поблагодарив прапорщика, выходим на улицу...

Надя из информационного центра — брюнетка с тонкой, как у меня, талией и остреньким носиком. Она восторженно встречает Черного.

— Паша! Ты что-то к нам редко заходишь?! Только по телефону твой голос и слышу.

— Сегодня утром забегал, — улыбается Павел.

— Как же я тебя не видела?! — горестно удивляется та и, заметив, что оперуполномоченный не

один, коротким, но женским цепким взглядом окидывает меня. Затем, уже не столь эмоционально, интересуется: — Кого искать будем?

— Что-нибудь похожее на Репкина.

— На Репкина так на Репкина, — говорит брюнетка и кокетливой походкой удаляется за высокие стеллажи с множеством деревянных ящичков.

— «Разыскивается за совершение хищения в особо крупных размерах, — на ходу читает карточку Надежда. — Последний раз освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно в шестьдесят первом году. Судим также под фамилиями Козин, Тимченко, Столяров. После освобождения установлена родовая фамилия — Репиков».

Она идет так медленно, что у меня возникает дурацкое желание подбежать, выхватить карточку и взглянуть на фото. Черный вынимает маленькую записную книжку и раскрывает ее.

Наконец получаю возможность взглянуть на Репикова.

Рассматриваю снятого в фас и профиль мужчину со стриженным наголо черепом и плотно сжатыми губами так долго, что даже Паша Черный не выдерживает.

— Он?

— Он, — радуюсь, словно отыскала не опасного преступника, а давно потерянного любимого, отвечаю я.

Черный забирает из моих рук карточку, подробно фиксирует на чистом листочке своей книжечки все данные о Репикове, отдельным столбиком — его судимости, каким райотделом разыскивается в настоящее время. Я же успеваю достать из сумочки бланк запроса и, заполнив его, подаю брюнетке.

— Если можно, ответ направьте по почте побыстрее.

— Я могу сделать это прямо сейчас.

— Ой, я бы вас очень попросила! — Это прекрасно — вернуться домой уже с очень нужной справкой.

30.

Павел провожает меня до гостиницы «Октябрь», в которой его начальник заказал для меня номер.

Расстаемся в холле, но едва я успеваю привести себя в божеский вид, слышу осторожный стук. Открываю. Передо мной снова Паша Черный.

— Лариса Михайловна, вы не желаете поужинать? — предлагает он.

Удивляюсь, но тем не менее ненавязчиво интересуюсь:

— Вы приглашаете меня в ресторан?

— Давно мечтал поужинать в каком-нибудь приличном заведении с приятной девушкой, — отвечает он.

Делаю большие глаза.

— А супруга?! Вы начинаете меня пугать.

Черный смеется.

— Лариса Михайловна, вы же давно, вероятно, догадались, что у меня ее никогда не было...

У подъезда гостиницы нас ждет голубой «Жигуленок».

Устраиваюсь на переднем сиденье и замечаю на себе любопытный взгляд водителя.

— Здравствуйте, — улыбается он. — Меня зовут Андрей. Мы с Пашей Черным вместе ловим преступников. Вот недавно в одной из перестрелок...

— Андрей, кончай, — обрывает Павел.

Водитель улыбается еще шире.

— Вы, девушка, не обращайтесь внимания. Паша всегда такой скромный.

Совершенно искренне соглашаюсь:

— Давно заметила.

— Андрей, кончай. Лариса Михайловна — наш коллега из Новосибирска.

— Да ты что?! Опер?! — восклицает Андрей.

— Следователь прокуратуры, — поясняю я.

— Нехорошо ты поступаешь, Павел, темнишь, — выговаривает Андрей. — Нет, чтобы сразу сказать, что по делу. А то, заедем, девушку заберем...

Черный называет какую-то улицу, и машина мчит по городу. Остановившись у светящейся вывески «Кафе Дубрава».

— За вами заехать? — спрашивает Андрей. — Все равно дежурю.

— Если не будешь занят, заскочи часов... — Павел смотрит на меня.

Подсказываю:

— В десять.

Когда он распакивает передо мной дверь кафе, ловлю себя на мысли, что меня начинает беспокоить его повышенное внимание. Стараюсь проанализировать свое поведение и убеждаюсь, что моей вины в этом нет. Но все равно надо быть серьезнее.

— Только музыки здесь нет, — словно извиняясь, говорит Павел, передавая мою шубу заспанной гардеробщице.

— А кормить будут?

— Обязательно.

— Это меня утешит.

За столиком сижу спокойно, но невольно рассматриваю официантку и заглядываю в тарелки наших соседей — их лангеты и румяный картофель «фри» остаются нетронутыми. Девушка лет восемнадцати и ее спутник такого же возраста неотрыв-

но смотрят друг на друга, будто соревнуясь, кто кого переглядит.

Где-то мой Толик? Рыскает, должно быть, по московским музеям и галереям, как саврас без узды. Пусть отдохнет. Каникулы скоро кончатся.

— Слушаю вас,— устало говорит официантка, подходя к столику.

— А что у вас есть? — спрашивает Павел.
— Сейчас принесу меню.

Решительно останавливаю ее.

— Не надо. Два лангета,— перевожу взгляд на Папу Черного и по тому, как он кивает, понимаю: ему все равно, чем питаться — овсяной кашей на воде или шашлыком по-карски.— Два кофе, мороженое. Салаты у вас какие?

— Мороженого нет, салат «Оливье»,— монотонно говорит официантка, подняв к потолку длинные «махровые» ресницы.

— Тогда «Оливье» и бутылочку минеральной воды,— соглашаюсь я.

— Все?

— Все,— говорит Павел.

Официантка захлопывает блокнот, уходит на кухню. Проследив ее путь взглядом, оперуполномоченный поворачивается ко мне.

— Наша официантка — единственный человек, который знал Репикова. Остальные уволились.

Уже убедившись, что при всей серьезности Павел иногда склонен к розыгрышам, недоверчиво улыбаюсь.

— В самом деле?

Он кивает.

— Репиков работал в этом кафе.

— Правда?!

— Конечно! — Павел доволен произведенным эффектом.

— Когда вы успели?

Папа Черный скромно пожимает плечами. Тогда я спрашиваю:

— Как бы ее допросить?!

— Она работает до десяти.

— Значит, сначала лангет, потом допрос,— охотно соглашаюсь я.

Администратор уже успела, видимо, по цепочке передать, что в зале находится умирающий от голода оперуполномоченный уголовного розыска. На нашем столике со сказочной быстротой появляются салат, дымящийся лангет и прочее.

Допивая кофе, Павел улавливает момент, встает из-за стола, подходит к официантке. О чем они говорят — мне не слышно, но через несколько минут Павел подзывает меня.

— Значит, Татьяна Ильинична, к тому времени, как вы устроились в кафе, Репиков уже здесь работал? — продолжает он начатый разговор.

— Да, лет семь-восемь.

— Ну и что он был за человек? — спрашиваю я.

— Чересчур правильный,— сквозь зубы отвечает официантка.— Ворчал на всех: та его обвешать хотела, эта с клиентом выпила, другая на работу опоздала...

— Вы испытывали к нему неприязнь? — интересуюсь я.

Татьяна Ильинична неожиданно вспыхивает.

— А кто его любил?! Он только с виду такой правильный был.

— Почему «с виду»?

— Потому, что предлагал мне сбывать левый товар! — зло произносит она.

С настойчивостью рыбака, ожидающего, что рыба вот-вот клюнет, спрашиваю:

— Какой товар?

— Папиросы с нашей фабрики.

— Вы согласились?

Татьяна Ильинична чуть отстраняется.

— Что я — дура, что ли?!

— Кому-нибудь еще он делал такое предложение?

— Светке Лысовой. Она официанткой у нас работала. Согласилась. До сих пор локти кусает.

— Что так?

— Прихватили ее с этими папиросами... Посадить не посадили, мать-одиночка она, дали условно, зато на пять лет запретили в торговле и общепите работать. Представляете, каково ей?

Сочувственно киваю.

— Да-а... А Репиков чем отделался?

— А что Репиков?.. Она про него не сказала. На суде заявила, будто купила коробку папирос у незнакомого мужика.

— Пожалела?

— Какое там «пожалела»! Запугал ее Репиков. Таких страстей наговорил... Что ребенка придушит, а ее бритвой искромсает. Даже нарочно во двор к ней приходил... Светка, как увидела, что он с ее Димкой играет, чуть с ума не сошла.

— Почему же вы не сообщили об этом куда следует? — жестко спрашиваю я.

Официантка поджимает губы.

— Светка мне потом все рассказала, после суда... Да и вообще, жизнь мне пока не надоела...

Очень хочется высказаться, но в этот момент за спиной раздается голос Андрея:

— Карета подана.

— Подожди, мы сейчас,— говорит Павел, поворачивается к официантке.— Вам известно, почему Репиков перестал работать в кафе?

Женщина пожимает плечами.

— Слышала, что они с шофером вывезли машину тушенки с мясокомбината. Вот и сбежал... Кажется, до сих пор ищут.

Больше расспрашивать нет смысла, поэтому мы, не задерживаясь, выходим на улицу. Андрей дожидается нас в машине.

— Как провели вечер? — интересуется он, включая «дворники», чтобы сбросить снежинки, успевшие запорошить лобовое стекло.

— С лангетом и кофе, — отзываюсь я.

— Это хорошо... А мне еще до утра дежурить.

Разворачиваю к себе зеркало заднего вида, чтобы заправить выбившиеся из-под шапки волосы, и замечаю слегка потемневшие глаза Павла. Возникает ощущение, будто невольно заглянула в чужую душу. Быстро отвожу взгляд.

31.

Будит звонок телефона. Злая от того, что не дали заснуть как следует, подскакиваю. В трубке — голос Черного. Возникает желание сказать какую-нибудь гадость.

— Лариса Михайловна, я установил соучастников Репикова.

— Уже? — продолжая тихо злиться, спрашиваю я, замечаю отсутствие соседки по номеру, бросаю взгляд на часы и ойкаю. — Павел, извините, я думала, еще ночь.

— Я же сказал «доброе утро», — смеется оперативник.

— А я не поняла.

— Лариса Михайловна, где вы собираетесь завтракать?

— Не знаю.

— Я жду вас в пирожковой, она за углом, в этом же здании.

Стены пирожковой облицованы зеркалами, и, находясь за стойкой, тянущейся вдоль зеркальной стены, вижу весь зал и толпящуюся у противоположной стойки очередь, состоящую в основном из студентов, на лицах которых нет и тени озабоченности по поводу зимней сессии. Самое любопытное, что и мое лицо не отягочено никакими думами. Вполне беспечная физиономия. Только глаза не такие большие, как обычно, наверное, слишком долго спала. Признаться, завтракать с собственным двойником не очень приятно. Ты жуешь, и она жует. Ты шмыгаешь носом, и она... Бр-р... Смотреть на себя надоедает, и я отворачиваюсь.

— Павел, а вы что так скромно? — спрашиваю, видя, что одна борюсь с едой, а он только пьет жидкий кофе из граненого стакана.

— Дома позавтракал.

Округляю глаза на оставшиеся пирожки.

— Вы переоценили мои возможности.

— Лучше переоценить...

В раздумье продолжаю жевать, потом соглашаюсь:

— Пожалуй, вы правы... Но если вы так же будете кормить свою будущую жену, она станет толстой, — я шарю в зеркале взглядом, нахожу подходящую фигуру в дубленке со складками на боках и пояснице и указываю Павлу, — вот как та дама... Мой Толик меня так не обкармливает.

— Муж?

Паша Черный улыбается, но восьмым бабьим чувством понимаю — делает он это, прилагая определенные усилия. Уголки губ, как всегда при улыбке, чуть поднялись вверх, но глаза вместо того, чтобы заискриться, темнеют. Совсем незаметно, но темнеют. В считанные доли секунды все это прокручивается в моем мозгу. Продолжая жевать пирожок, беззаботно киваю.

— Ну да.

— Он у вас экономный? — снова улыбается Павел, но на этот раз более естественно.

— Ужасно! — говорю я, вынимаю из сумочки полиэтиленовый мешочек и укладываю туда оставшиеся пирожки, которые слишком хороши, чтоб оставлять их для откорма зажавшихся хрюшек. — А я в него!

— Понятно, — смеется Черный, помогая впихнуть в сумочку раздувшийся пакет.

32.

Исправительно-трудовая колония, куда мы добираемся после часа езды на автобусе, щетинится высоким дощатым забором и сторожевыми вышками, чем-то напоминая неприступные крепости оседлых народов прошлого.

Сержант внимательно сверяет наши удостоверения с физиономиями. У меня даже появляется желание для большего сходства с фотографией на документе снять шапку и изобразить обиду на весь мир. Именно так я выгляжу на удостоверении. Но сержант прикладывает руку к виску:

— Пожалуйста.

Забранная толстыми стальными прутьями дверь с металлическим лязганьем открывает свой замок, и мы входим на территорию. Вдоль «бетонки», выметенной так, что забывается, какое сейчас время года, тянется высокая железная ограда локальной зоны с далеко загнутыми внутрь концами. Пока идем мимо, на нас с неподдельным любопытством смотрят свободные от работ осужденные. Они редко видят новые лица...

Вскоре в кабинет, предоставленный в наше распоряжение начальником оперчасти, заглядывает высокий молодой мужчина в черной телогрейке и суконной шапке того же цвета.

— Осужденный Илюхин, — снимая шапку, представляется он. — Вызывали?

— Проходите, — говорит Павел, указывая на стул возле стола, за которым уже расположилась я.

Илюхин, громко ступая сапогами, подходит к столу.

Разглядываю его широкоскулое лицо с едва заметно искривленным носом, торчащие красные уши и неожиданно доверчивые голубые глаза.

— Садитесь.

Он опускается, кладет шапку на колени.

— Станислав Евстратович, мы разыскиваем Репикова, поэтому хотелось уточнить некоторые детали совершенного вами преступления, — придвигая к себе бланк протокола допроса, говорю я.

— Вот жук! — с непонятным восхищением восклицает Илюхин. — Не нашли еще!

Смотрю в его чистые глаза.

— Вы этому рады?

— Почему рад? — обижается он. — Мне тоже одному за все отдуваться неохота. Просто удивляюсь. Забавно как-то получается.

— Забавно, что преступник на свободе?

Илюхин по-бычьему поводит головой.

— Да я не то хотел сказать.

— А что?

— Непорядок это... Тут люди за меньшее сидят, а он...

Против подобного суждения ни мне, ни Черному возразить нечего. Но молчание длится не очень долго.

— Спрашивайте, — говорит Илюхин. — Что знаю, расскажу. Какой мне прок его укрывать, все равно в групповом признали виновным, хоть его и не поймали.

— А вы как хотели? — вмешивается Павел. — Воровать вдвоем, а ответственность нести, будто и не было никакого сговора?

Илюхин огорченно машет большой рукой, как человек разуверившийся в том, что его когда-нибудь поймают до конца.

— Какой там сговор?!

— Самый обыкновенный, — возражает Павел. — Я читал приговор.

— Станислав Евстратович, как вы познакомились с Репиковым? — спрашиваю я, пресекая ничемный спор.

Илюхин охотно отвечает:

— Я в автоколонне работал, шофером. Мы обслуживали тресты, торги, большие магазины. Продукты по точкам развозили. Иногда посылали и в «Дубраву», где Репиков экспедитором был. Там с ним и познакомились.

— Сдружились?

— Не очень. Здоровались, разговаривали. Как

обычно... Вместе же ездили за продуктами для кафе.

— Ну и как же это у вас получилось с тушенкой?

— По дурости... Приехали с дядей Веней, то есть с Репиковым, на мясокомбинат. Надо было несколько ящиков колбасы получить. Я под грузку встал, а он пошел документы оформлять. Смотрю, грузчики уже набрались, пьяные, значит. А мне какое дело? Прилег на сиденье и дремлю. Я по утрам спать сильно хочу, — Илюхин стыдливо опускает глаза, будто невольно выдал сокровенное. — Здесь тоже не высыпаясь... Проснулся оттого, что Репиков меня в бок толкает. Поехали, говорит, быстренько. Эти пьяные дураки вместо колбасы целую машину тушенки накидали... Я спросонья ничего не соображаю, а тут он еще погоняет...

— Так ничего и не сообразили?

Илюхин теребит в руках шапку.

— Как вам сказать?..

— Как было, так и скажите, — говорю я. — Наказание вы уже отбываете, приговор, хотя вы и жаловались, оставлен без изменения. Сейчас-то зачем темнить?

— Ну, догадался, — с трудом выговаривает Илюхин.

— Почему же не остановили Репикова? — сухо вставляет Павел.

— Пытался... За ворота выехали, я было взад пятки, прокумекал маленько, что к чему. Да куда там! Он как накинулся, как давай меня честить. Дурак, кричит, жизни не нюхал. Подумай, дескать, своей башкой. Ведь это все равно, что «Волгу» в «Спринт» выиграть! А нам даже билет вытягивать не пришлось!.. Я его стал просить: давай назад отвезем. Спрашивает: за ворота вывез? Ну, говорю, вывез. Иди, говорит, теперь доказывай, все одно посадят, а то и вышка. С расхитителями сейчас строго, даже директора Елисеевского магазина в Москве расстреляли, а тебя-то и подавно... Пока он мне все это талдычил, мы уже километров пять от комбината отъехали. Одним словом, согласился я... Приехали на базу какого-то ОРСа, название сейчас и не помню. Вышел к нам Сурков этот, на суде мы с ним рядышком сидели. Пошушукались они. Втроем сгрузили мы тушенку, я с территории выехал. Потом пришел Репиков и дал мне две тысячи.

— А получилось хищение в особо крупных размерах, то есть на сумму свыше десяти тысяч рублей, — хмыкает Черный.

— А Репиков не обсчитал вас при дележе? — догадавшись, к чему клонит Паша Черный, спрашиваю я.

— Точно! — выдыхает Илюхин. — Наверняка,

обсчитал! Я думал, что это Сурков врет суду, при бедняется, будто Репиков с него много взял — во семь тысяч.

— Что было дальше?

— Доработали до конца дня, загнал машину в гараж, пошли в вокзальный ресторан.

— При таких деньгах — очень скромный выбор, — роняю я.

Илюхин невесело усмехается.

— Это точно... Меня туда дядя Веня затянул. С башлями, говорит, светиться не стоит. А на вокзале все проезжие, в глаза бросаться не будем.

— За столиком вы одни были?

— Нет, с каким-то деревенским мужиком пили, он все на жизнь свою жаловался, вроде брат его объегорил с наследством, а у самого двенадцать тысяч оказалось в кармане, — говорит Илюхин и с горечью добавляет: — Я здесь за две сижку...

— Во-первых, не за две, а во-вторых, те двенадцать были законные, а у вас — ворованные, — ставит его на место Черный. — Кстати, откуда вам известно, сколько у него было денег?

— Напился он как дурак и давай хвастать.

— Как на это Репиков реагировал? — спрашиваю я.

— Да я толком и не знаю... Тоже пьяный был, страх прогонял. — Он опускает глаза и отворачивается к окну, за которым виднеется крыша приземистого здания.

Продолжая задавать вопросы, мы с Павлом выясняем, как Илюхин с Репиковым и Даниловым попали к деду Кондрату, как пьянствовали там, как разошлись. Когда Илюхин говорит, что «дядя Веня» провожал его домой, я спрашиваю:

— Где вы с ним расстались?

— На углу моего дома... Я поднялся к себе на пятый этаж. Звоню, а вместо жены дверь два милиционера открывают. Спьяну даже зашумел на них, забыл про эту чертову тушенку. Подхватили они меня и — вниз. Из подъезда вышли, гляжу, а дядя Веня еще не ушел, стоит в палисадничке под деревом. Как нас увидел, сразу на землю упал... Вот так и расстались.

— Значит, Репиков видел, как вас задержали, — задумчиво произношу я. — Случайно ли он там стоял?..

На мой риторический вопрос ровным голосом отвечает Черный:

— С такой биографией случайно ничего не делают. Наверняка именно в этот момент у него и возникла мысль в очередной раз сменить документы и фамилию.

— Как знать, может, и раньше, ведь он знал о двенадцати тысячах еще в ресторане, — все так же задумчиво возражаю я.

Илюхин, оставленный без нашего внимания, ничего толком не понимает, хлопает своими по детски голубыми глазами и смотрит то на меня, то на оперуполномоченного.

33.

Справка Информационного центра УВД о сумостях Репикова, копия приговора в отношении Илюхина и Суркова, протоколы допросов Тимофея Данилова, деда Кондрата, документы, выписки, копии, справки... Хорошо, что в отцовский «дипломат» все входит. Где же билет на поезд? Перерываю сумочку вверх дном, нахожу билет на столе и успокаиваюсь.

Скоро должен появиться Паша Черный. И зачем только я согласилась, чтобы он меня провожал? Надо было отказаться. Лучше уезжать, не прощаясь. Ведь понимаю же, что нравлюсь ему... Но что из всего этого может получиться?.. Какие только глупости не лезут в голову, когда ждешь и ничего не делаешь! Ничего не было, быть не могло и не будет. Меня ждет Толик. Я его люблю. Давно, окончательно и бесповоротно. Это вполне объективная реальность, которая не зависит от нашей, то бишь от моей воли.

Поставив точку, заставляю себя улыбнуться, энергично, с шумом щелкнуть замками, переставить «дипломат» ближе к двери, придирчиво осмотреть себя в зеркало, поправить челку и подмигнуть своему грустному отражению.

Павел точен.

— Я всегда считала, что с цветами встречаются, — говорю и с негодованием слышу, что мой голос излишне приветлив.

— И провожают тоже, — улыбается он, протягивая три алых, как закат, гвоздики.

Выходим из гостиницы и садимся в ожидающее нас такси.

Едем молча. Лишь совсем недалеко от вокзала Черный негромко, так, чтобы не слышал водитель, произносит:

— Лариса Михайловна, а ведь вы меня обманули...

— Неужели я на это способна?

— Вы сказали, что замужем. Обычно замужние женщины стараются подчеркнуть свою свободу, а вы...

— Когда речь заходит о женщинах, — усмехаюсь я, — про слово «обычно» лучше не вспоминать, оно теряет свой смысл... Интересно, чем же я себя выдала?

— Мы заходили в магазины, но вы не сделали ни одной покупки, которая бы свидетельствовала о наличии у вас семьи.

— А мужская сорочка?

— Мало ли... — пожимает плечами Павел, хочет еще что-то сказать, но такси резко останавливается.

— Приехали, — не оборачиваясь, бросает водитель.

На перроне холодный воздух беспощадно сжимает головки гвоздик. Они постепенно вянут, теряя краски, становятся похожими на трясичные цветы, которые забыли подкрахмалить.

Протягиваю руку.

— Прощайте...

Павел молча снимает перчатки, медлит, едва касается пальцами моей ладони.

Быстро поднимаюсь на подножку и, не оглядываясь, прохожу в вагон. Окно моего купе выходит на противоположную от перрона сторону. Прямо перед глазами грязно-белая цистерна с угрожающей надписью «Огнеопасно!» Легкий рывок — и цистерна начинает уходить в сторону, словно растягивается.

Проводница, заспанная девушка со слипшимися прядями рыжих волос, прячет мой билет в один из многочисленных кармашков брезентовой сумки.

— В Новосибирске разбудите, пожалуйста, я очень крепко сплю, — прошу я.

— Обязательно, — хмуро буркает она.

Засыпаю. Во сне вижу Толика. Он в толпе своих учеников встречает меня на платформе. Просыпаюсь оттого, что кто-то отчаянно рвет дверь купе.

— В чем дело?! — возмущаюсь я.

— Чемоданы поставить нужно! — командуют с той стороны.

Открыв дверь, уже более спокойно спрашиваю:

— Какая станция?

— Новосибирск.

— Что?!

Должно быть, на моем лице все написано. Несостоявшиеся соседи отшатываются в сторону, любезно предоставляя мне возможность напялить задом наперед свитер, воткнуться головой в шапку и одновременно руками — в рукава шубы, выдернуть из-под матраца «дипломат», сорвать с крючка сумочку и выскочить в коридор. Пробегая мимо третьего купе, слышу сонный голос проводницы.

— Эй, вы, там, наверху! — цитирует она слова из песни, исполняемой популярной певицей. — Новосибирск!

— Билет?! — наглядываюсь на нее, понимая, что говорить ей, о чем я сейчас думаю, нет времени. — Билет где?! Мне отчитываться...

— В моем купе, на столе, — с сонной интонацией отвечает проводница. — Постель сдали?

Меряю ее уничтожающим взглядом.

— Ладно, сама соберу, — вяло соглашается она.

Схватив билет, выпрыгиваю из вагона. Иду мимо состава, а он все стоит и стоит. Как всегда в таких случаях, не покидает ощущение, что забыла что-то важное. Останавливаюсь. Гвоздики! Они так и остались лежать на столе.

И тут же замечаю движущуюся навстречу длинную сутуловатую фигуру в коротком пальто с поднятым воротником, в кроличьей шапке с опущенными ушами. Толик, вытянув шею, всматривается в светящиеся окна вагонов, протирает очки. Увидев меня, он радостно восклицает:

— Лариса!.. Я вчера из Москвы, а тебя нет. Позвонил вашим, потом — в Омск, и любезный молодой человек по фамилии Черный сообщил мне номер поезда...

Как все-таки это здорово — вернуться домой!

34.

Понимаю, что воскресенье. Но меня так и подмывает позвонить шефу. Даже Толик, которому я надоела со своими сомнениями «звонить — не звонить?», в конце концов не выдержал и прочитал мне небольшую нотацию, смысл которой сводился к тому, что Павел Петрович работает слишком напряженно для его возраста, и в выходной день беспокоить его просто свинство.

Поэтому в понедельник поднимаюсь раньше обычного и уже в начале девятого подъезжаю к прокуратуре. Странное дело: окно кабинета Павла Петровича не освещено, а прокурорская «Волга» у крыльца. Ставлю «Ниву» рядом. Дверца «Волги» приоткрывается, и из нее высовывается удивленный Виктор.

— Вы что, Лариса Михайловна, уже вернулись?

— Нет еще, — улыбаюсь я. — Ты куда шефа дел?

— На электрокардиограмму отвез. Его что-то вчера прихватило. Сегодня кое-как с женой его уломали. Хорохорится: мол, отпустит, и не так раньше прижимало..

Поднимаюсь на крыльцо и слышу, что меня окликают. Оборачиваюсь. Ко мне спешит невысокая женщина в приталенном зеленом пальто с лисьим воротником. Цвет ткани я еще различаю в сумеречном свете уличного фонаря, а лица разглядеть не могу.

— Лариса Михайловна, — снова с волнением в голосе окликает женщина. — Здравствуйте, это я, Хохлова.

— Что случилось, Вера Николаевна?

— Я видела того человека, — торопливо гово-

рит она.— Того самого, который забрал телогрейку Алексея.

— Где?!

— Возле киоска по приему стеклотары, недалеко от нашего дома. Я на работу бежала, вяжу — он в очереди стоит.

Вот и попробуй спланировать свой рабочий день! Специально приехала пораньше, чтобы напечатать постановление об аресте Репикова и к приходу шефа положить на стол. Но сообщение Хохловой игнорировать нельзя. Незвестный может исчезнуть.

— Садитесь, — возвращаясь к «Ниве», прошу я.

Резче, чем обычно, срываю машину с места.

После минутного молчания Хохлова спохватывается:

— Лариса Михайловна, телогрейку-то я дружную отдала.

От неожиданности притормаживаю.

— В таком состоянии была... Ошиблась. Вместо той, в которой погиб Алексей, отдала нашу. Он в ней на рыбалку ездил, в колхоз. Стала в кладовке прибирать, а та, что со стройки, висит.

— Пуговицы все на месте?

Вера Николаевна удивленно смотрит на меня.

— Пуговицы?.. Нет, верхняя оборвана.

Чужие ошибки иногда приносят пользу. Теперь у меня полный комплект для экспертов — и пуговица, и телогрейка.

Похоже, Вера Николаевна намеревается окончательно ошарашить меня новостями:

— Вы знаете, к нам приехал знакомый Алексей, я вам про него рассказывала, из Шадринки...

— Данилов?

— Ну да, Михаил Деметьевич... Алексей летом у него жил. Да вы же его знаете, вы же были у них...

Она, видимо, ждет, что я объясню цель своей поездки в Шадринку, но мне не до этого. Коротко отвечаю:

— Да, мы знакомы.

— Очень хороший человек, — словно споря со мной, произносит Вера Николаевна. — Мы же для него никто, а он приехал в такую даль, целый чемодан гостинцев привез: мясо копченое, мед горный, орехи...

— Где он сейчас?

— Встал пораньше, по магазинам пошел. Колбасы ему заказали и кукурузных палочек...

Почти не снижая скорости, подъезжаю к разномастной очереди у приемного пункта. Спрашиваю у Хохловой:

— Здесь?

— Вторым стоит.

Расслабленно откидываюсь в кресле.

— Подождем...

Вторым в очереди стоит худой, ниже среднего роста мужчина. Рядом с его подшитыми валенками с загнутыми голенищами лежит на санках огромный рюкзак. Мужчина ловким рывком закидывает рюкзак на прилавок и спорными движениями выставляет бутылки. Получив деньги, задирает вверх острый подбородок, очевидно, еще раз прикидывая, сходятся ли его подсчеты с расчетом приемщицы, скручивает рюкзак, берется за санки.

Жду, когда он отойдет от киоска шагов на тридцать, и осторожно трогаюсь за ним. Поравнявшись, открываю дверцу.

— Гражданин, можно вас на минуточку?

— Пожалуйста, — останавливается он.

Изучив мое удостоверение, мужчина оторопело оглядывается по сторонам, затем кривится:

— Что, бутылки нельзя сдавать?.. Все думают, если бутылки сдает, значит, алкоголик. Никогда не пил, а теперь и вовсе не могу. Здоровье не позволяет. Если хотите знать, третий год на инвалидности сижу! А бутылки вот — собираю...

— Вам эта женщина знакома? — указываю на сидящую в кабине Веру Николаевну.

Мужчина подается к стеклу.

— Знакома. Я у нее спецодежду забирал, — он понижает голос, — муж у нее на стройке погиб.

— Откуда вам это известно?

— Так тот мужик сказал, который попросил сходить. Я у ларька стоял, подходит он ко мне — невысокого роста, пожилой, но коренастый такой, — худой мужчина смущенно скребет плохо выбритую щеку. — Меня почему-то часто за алкоголика принимают... Вот и он, видать, принял. Сходи, говорит, по такому-то адресу, возьми у хозяйки спецодежду, а то мне неудобно, товарищ погиб, а одежда на мне числится. Если его жена меня увидит, разные охи начнутся, а тебя она не знает. А я, говорит, не обижу, на бутылку дам. Черт с тобой, думаю, если у тебя пятерки лишние...

— Опознать того гражданина сможете? — перебиваю я.

— Смогу, на зрительную память не жалуюсь.

— Вы не против, если сейчас же проедем в прокуратуру?

— Пожалуйста, — мнется он, — только у меня... саночки...

— А мы их в багажник.

Хохлова перебирается на заднее сиденье, а свидетель, вежливо поздоровавшись с ней, занимает место рядом со мной.

Хлопаю дверцей, и вдруг меня осеняет. Обращиваюсь к Вере Николаевне:



— Данилов не спрашивал, где находится стройка?

— Спрашивал. Я ему объяснила, как туда добраться... Не надо было?

Приходится нарушать правила дорожного движения.

Машина влетает на территорию строительного участка и, проехав юзом несколько метров, замирает у вагончика. Мои пассажиры, испуганные гонкой и совсем не понимающие, чем она вызвана, облегченно вздыхают. Но мне не до них. Выскочив из «Нивы», слышу глухие удары о стенку вагончика. Бросаюсь к двери.

Кажется, успела вовремя. Гость из Шадринки, схватив своими ручищами Репикова за отвороты телогрейки так, что ноги того беспомощно брыкаются в воздухе, а испуганно-злые глаза вот-вот выскочат из орбит, размеренно бьет его о стену и спрашивает:

— Где Тимоха?!

Репиков не отвечает. Его губы крепко, до синевы, сжаты, и сейчас он совсем не похож на добродушного плотника Дементьича, который с таким сожалением рассказывал мне о «несчастном» случае с Хохловым.

— Михаил! — кричу я, повиснув на руке шадринского гостя. — Прекратите!

Он замечает меня, и его хватка слабеет. Это я понимаю, видя, как ноги Репикова медленно опускаются на пол. На лице Михаила Данилова столько горя и отчаяния, что хочется тут же обрадовать его известием о брате, но сделать этого пока не могу. Мешает присутствие Репикова, которому рано знать о том, что тот, под чьим именем он прожил несколько лет, жив.

Немного придя в себя, Репиков сердито сбрасывает руки Михаила Дементьевича.

— Товарищ следователь, может, вы объясните, в чем дело?

Его удивление столь неподдельно, что на меня холодной волной накатывает неизвестно откуда взявшееся сомнение. Отгоняю все вздорные мысли, говорю:

— Объясню... Только для этого вам придется проехать со мной.

— Я же на работе, — поправляя съехавшую набок каску, пытается улыбнуться Репиков.

Конечно, не всегда целесообразно сообщать подозреваемым о том, зачем их приглашают в прокуратуру. Могут возникнуть ненужные осложнения. Но меня начинает раздражать невinnная физиономия Репикова, да и присутствие тракториста Данилова вселяет уверенность, что осложнений не предвидится.

— С этого часа, — я подношу к лицу Репикова циферблат с прыгающей по нему секундной стрелкой, — можете считать себя задержанным. Проходите в машину.

Репиков дергает плечом и под тяжелым взглядом Данилова поворачивается к двери, в которую в этот момент входит кудрявый Бабарыкин.

— Здравствуйте, — широко улыбается он.

Оглядываю его крепкую фигуру и думаю, что появился он как нельзя кстати.

— Владимир, не могли бы вы мне помочь?

— А чё?

— Нужно доставить преступника в милицию.

Бабарыкин непонимающе косится на гостя из Шадринки. Поясняю:

— Доставить гражданина, известного вам как плотник Дементьевич.

Бабарыкин озадаченно выпячивает нижнюю губу, смотрит на Репикова. Тот пренебрежительно хмыкает. На лице Бабарыкина появляется понимание, он хмуро выдыхает:

— У, хитромудрина старая!..

Прерывая затянувшуюся паузу, негромко бросаю:

— Руки.

И Репиков, сам того не сознавая, привычным движением закладывает их за спину. Это липкий раз убеждает, что я имею дело с человеком, знакомым с местами лишения свободы не понаслышке.

Собиратель стеклотары, завидев подошедшего к машине Репикова, осторожно кивает:

— Доброе утро.

Опознание в том виде, как оно предусмотрено уголовно-процессуальным законом — в присутствии понятых, когда опознаваемый находится среди двух-трех людей того же возраста, пола, роста и по возможности схожих с ним внешностью, сорвалось. Однако не очень досадую. Лично у меня теперь нет сомнений, что телогрейкой Хохлова пытался завладеть Репиков. Хотел уничтожить одно из вещественных доказательств.

Вспомнив неоднократные просьбы мамы быть осторожной в борьбе с преступниками, которые, как она считает, всегда носят в карманах пистолеты и финские ножи и только и думают, как бы половчее расправиться со следователем Приваловой, прошу Михаила Дементьевича посмотреть, нет ли чего колюще-режущего у Репикова. Бабарыкин крепко держит Репикова за плечо, а Данилов неумело, зато очень обстоятельно, под взглядами притихших в кабине Веры Николаевны и собирателя стеклотары, обследует одежду задержанного.

— Нет ничего такого, — говорит он, расправляя спину.

Записываю адрес, фамилию, имя и отчество собирателя бутылок и прощаюсь, извинившись, с ним и с Хохловой.

Репиков уже сидит на заднем сиденье, стиснутый с двух сторон моими добровольными помощниками.

35.

Приветствую капитана — дежурного по райотделу. Услышав мою просьбу принять задержанного, он хмурится, вероятно, представляя все формальности, но ничего не поделаешь — соглашается:

— Куда денешься... Только вы с санкцией поторопитесь.

Вошедшие в роль Бабарыкин и Михаил Данилов довольно бесцеремонно вытаскивают Репикова из машины, крепко, так, что у того кривятся губы, берут под руки и вводят в дежурную часть.

Только когда за Репиковым захлопывается дверь, облегченно вздыхаю. Постановление о задержании — не проблема.

Благодарю кудрявого Бабарыкина за помощь, и мы с Даниловым идем к машине. Михаил Дементьевич, глядя в землю, угрюмо спрашивает:

— Так это он Тимоху?..

Теперь можно говорить откровенно, и я рассказываю Данилову все, что мне известно о его старшем брате.

— Да вы что?! — вскидывается Данилов. — В Омске живет?.. К нам летом собирается... Здорово!.. Еду к нему, у меня еще три отгула!

Предлагаю Михаилу Дементьевичу подвезти его, но он отказывается и широкими шагами направляется в сторону виднеющегося неподалеку железнодорожного вокзала. За билетом до Омска...

К счастью, кардиограмма у шефа нормальная. Об этом он сердито сообщает в ответ на мой вопрос о здоровье. Еще несколько минут он сетует на мнительность своей супруги и вероломство вступившего с ней в сговор водителя служебной машины, потом, оборвав себя на полуслове, бурчит:

— Докладывай, что привезла?

Послушно докладываю, а в конце прошу санкционировать два постановления — об аресте Репикова и об обыске в принадлежащем ему доме. Павел Петрович молча ставит росчерки в правом верхнем углу постановлений и, звучно подышав на печать, прикладывает ее к документам.

— Да-а, вряд ли мы добьемся от него чисто-сердечного признания, — роняет он.

— Доказательств предостаточно.



Шеф морщится.

— Не будь такой самоуверенной.

Киваю и выскальзываю из кабинета.

Селиванов, услышав мою просьбу — помочь с обыском, тускнеет и показывает на два пухлых тома.

— У меня же сроки, Лариса Михайловна!

— Евгений Борисович, ты сам говорил, что обыск — дело коллективное, — укоряю я, хотя прекрасно знаю: возражает он лишь ради самого возражения.

Через тридцать минут мы с ним выпрыгиваем из «Нивы» у кирпичного особняка с голубыми ставнями, окруженного высоким забором из плотно пригнанных досок. Окинув дом грустным взглядом и, очевидно, прибросив объем предстоящей работы, Селиванов вздыхает:

— Не меньше трех комнат... Наверняка и погреб имеется... Беги за понятыми, я здесь подожду...

Когда мы с понятыми входим и я, объяснив хозяйке дома цель визита, прошу выдать паспорт на имя Тимофея Дементьевича Данилова, ценности и другие предметы, могущие представлять интерес для следствия, она прижимает к груди руки с опухшими в суставах пальцами и растерянно лепечет:

— А что же я ему скажу?

— Поторопитесь, пожалуйста, гражданка, — сухо произносит Селиванов.

— Где же я это возьму? — затравленно уставившись на нас и медленно отступая в глубь комнаты, говорит она. — Он же потом с меня спросит...

— Ваш муж арестован, — сообщаю я.

— А как вернется?.. Он же мне не простит.

— Не вернется, — отрезает Селиванов, устало опускаясь на табурет.

— Ну, если так...

— Да-да, никак иначе, — кивает Евгений Борисович.

Хозяйка долго глядит на плохо выбритый подбородок моего коллеги, на тяжелые мешки под глазами, на резковато очерченный его рот и, словно набравшись уверенности, тихо произносит:

— Он мне не показывал, но я знаю... В погребе, под капустной бочкой.

Селиванов и хозяйка спускаются в погреб, а я с понятыми остаюсь в комнате. Мой коллега, с трудом сдвинув в сторону бочку, приподнимает находящуюся под ней крышку люка.

— Там выключатель справа должен быть, — подсказывает хозяйка.

Квадрат в полу погреба заливают яркий свет, но я, как ни стараюсь заглянуть, ничего не вижу, кроме сгорбленной спины Селиванова.

— Нахапал,— слышится его приглушенный голос.

Из погреба начинают появляться ковры, хрустальная посуда, мужские и женские шапки, импортная радиоаппаратура, а в довершение — потрепанный чемоданчик. С такими сейчас ходят машинисты. А раньше, должно быть, ходили балерины, потому что назывались они «балетками».

На глазах изумленных понятых извлекаю из «балетки» несколько пачек сторублевых купюр и целый клубок золотых цепочек, кулонов, серег, колец. Пока разглядываю эти ценности, Селиванов, очевидно, исследовав до конца репиковский тайник, вылезает оттуда.

— Все? — строго спрашивает он хозяйку.

— Да,— едва слышно отвечает та.

Отрываюсь от очень утомительного занятия — пересчета добытых преступным путем денег, напоминая:

— Паспорт?

— Сейчас принесу,— отзывается хозяйка и семенит к буфету.

Каждую из вещей необходимо описать, внести в протокол обыска, и этим нудным делом мы занимаемся вместе с Селивановым.

Через несколько часов Селиванов откидывается на спинку стула, разминает затекшие от долгой писанины пальцы, спрашивает у хозяйки:

— Чемоданы у вас есть?

Та, молча кивнув, лезет под кровать и вытаскивает похожие на сплюснутые сундуки чемоданы.

— Пойдут,— удовлетворенно говсрит Евгений Борисович, оборачивается к понятым: — Помогите упаковать, пожалуйста.

— Вам придется проехать с нами,— говорю я женщине.

Она боязливо отступает.

— Вещи брать?

— Не надо.

С помощью тех же понятых загружаем машину. Селиванов, не выпуская из рук «балетку», втискивается на заваленное изъятими вещами заднее сиденье и кивком головы командует супруге Репикова уstraиваться на переднем.

36.

Уборщица Мария Васильевна уже несколько раз заглядывала в мой кабинет и теперь сердито гремит ведром в коридоре. Но я, не отрываясь от протокола, продолжаю слушать сжавшуюся в серый комок Степаниду Ивановну.

Три года назад она овдовела. Репиков увидел вывешенное ею на столбе у трамвайной остано-

ки объявление о сдающейся комнате и вскоре поселился у Степаниды Ивановны. А через некоторое время предложил зарегистрировать брак. Она долго колебалась — ведь он был моложе на несколько лет, но потом уступила, боясь в старости остаться одной — детей у нее нет. После регистрации Репиков вел себя, как порядочный человек. Правда, Степанида Ивановна стала замечать, что к нему приходят какие-то подозрительные личности, но значения не придавала, пока не обнаружила в сарае несколько ковров и шапок. Догадавшись, что вещи краденые, она высказала все Репикову. Тот промолчал, но ночные посещения не прекратились. Тогда Степанида Ивановна решила припугнуть его участковым. Репиков, ни слова не говоря, избил ее и закрыл в погребе. Наутро, вытащив едва живую от страха и холода, не повышая голоса, сказал: «Еще пикнешь, живьем в огороде закопаю. А не успею, кореша на части разорвут!» После этого она слегла, а когда поднялась на ноги, Репиков, не давая опомниться, велел ехать на вещевого рынок — сбывать краденое. Степанида Ивановна категорически отказалась, и снова была избита. Так продолжалось несколько раз. Однажды, пока он был на работе, она тайком пошла в опорный пункт милиции, но Репиков словно поджидал. Встретил и угрозами заставил идти домой, где снова жестоко избил. Степанида Ивановна смирилась.

— Вы знали что-нибудь о прошлом своего мужа? — спрашиваю я.

— Он говорил, что с Алтая, родни никого не осталось... Потом-то я догадалась, откуда он у нас в городе появился. Сидел он, видно. Я еще больше бояться стала... Измывался он надо мной...

Записываю эту горькую исповедь и прошу Степаниду Ивановну расписаться в протоколе.

Она уходит, а я тупо гляжу в пространство. На осмысленный взгляд просто не хватает сил. Это понимает и кузнец из артели «Ударник», изображенный на металлической табличке сейфа. Его молот замирает в воздухе...

Звонок телефона.

— Лариса Михайловна,— слышу взволнованный голос в трубке.— Извините, что поздно, я целый день не мог вас застать.

— Извиняю, но кто это?

— Зайцев,— обижаются на другом конце провода.

— Какой Зайцев?

— Подсобник бабарыкинский. Из вычислительного центра... Вспомнили?

— Здравствуйте, Григорий Юрьевич. У вас что-нибудь случилось? — спрашиваю я, понимая,

что без причины Зайцев не стал бы меня разыскивать.

— Вообще-то, ничего, просто я человека в «пирожке» встретил. Оказывается, он у нас в институте работает.

— Вы можете попросить его зайти ко мне в прокуратуру? Завтра, часам к десяти.

— Могу. Каникулы кончились,— смеется Зайцев.— Приступил к своим обязанностям. Обязательно завтра скажу. Да, его фамилия Самаркин. Мы в восемь пятнадцать начинаем, так что к десяти часам он у вас будет.

Благодарю Зайцева, кладу трубку и задумываюсь. Странно. Звонок пробудил во мне угасшие было желания двигаться и заниматься полезной деятельностью. Интересно, кто из экспертов может быть в лаборатории вечером в начале девятого? Разве что Эдвард? Он старый, одинокий и не любит смотреть телевизор. Набираю номер.

— Эдвард Сергеевич? Думала, вы уже дома, кино по телевизору смотрите,— шучу я.— Это Привалова... Передо мной лежит паспорт, и я точно знаю, что фотография переклеена, но как ни присматриваюсь, следов подделки узреть не могу...

— А вы хорошо присматриваетесь?

— Очень.

— М-да... Если это на самом деле так, у вас в руках довольно редкая вещь.

— Кто бы ее мог изготовить?

— Сразу и не сообразишь,— сопит в трубку эксперт.— У нас в городе таких «умельцев» не осталось... Как говорится, иных уж нет, а те далекие...— Уловив мое настроение, эксперт успокаивает:— Вы не печальтесь, Лариса... Поговорите с Мотей... С Матвеем Иосифовичем Шпаком... Правда, он и мне в отцы годится и давненько ни в чем таком не замечался, но чем черт не шутит... А гравер он высшей квалификации. Это работники НКВД еще в тридцатые годы заметили.

— Сидел? — догадываюсь я.

— Неоднократно,— подтверждает эксперт и спохватывается:— Вы сильно-то не обнадеживайтесь, может, Моти и в живых нет.

Я не падаю духом, а звоню в адресное бюро.

Шпак жив, и я, не раздумывая, спешу к нему на свидание...

Двери квартиры за свою долгую службу первидели столько замков, что если кому-нибудь взбрдет в голову вставить еще один, у него просто не будут держаться шурупы. Нажимаю на кнопку одного из четырех звонков, но, видимо, не на ту. Открывает мне низкорослая, похожая на колобок, запенсионного возраста женщина.

— Вам кого?

— Матвея Иосифовича.

— Ему и надо звонить... Вторая дверь направо.

Сообщив это, она равнодушно поворачивается и, даже не поинтересовавшись, закрыла ли я за собой дверь, скрывается в глубине заставленного столетним хламом коридора.

Стучу во вторую направо.

— Войдите,— раздается надтреснутый старческий голос.

В комнате с высоким потолком и потемневшей известкой на стенах лежит на диване укрытый по самый подбородок суконным одеялом старец с заросшим седой щетиной лицом.

— Добрый вечер,— приподнимает он в улыбке уголок рта,— вы из райсобеса или райздрави?

— Они тоже приходят в столь поздний час? — вежливо интересуюсь я.

Выпуклые глаза Матвея Иосифовича не стариковски остро впиваются в меня.

— Начинаю догадываться, из какой вы организации,— помаргивая, будто в глаз попала соринка, говорит он.

— Вот и прекрасно... Я из прокуратуры.

— И зачем же понадобился прокуратуре дряхлый, больной Мотя Шпак? Он уже давно ничего не может... Но заметьте, я всегда прибывал себе путь к свободе примерным трудом. Это понимали, ценили и освобождали досрочно.

— А как же столь примерный человек снова попадал за решетку?

— Губила доброта! — Матвей Иосифович выползает из-под одеяла и, пристроив поудобнее подушку, конфузливо застегивает на груди клетчатую рубашку.— Мои руки, которые товарищи из НКВД справедливо считали золотыми, были нужны всем... А я не умел отказывать. «Мотя, сделай ксиву». — «Пожалуйста». «Мотя, нужна печать артели». — «Пожалуйста». «Мотя, сделай клише, совсем пообносились, не идти же на гострудберкассу». И я делал, характер мягкий...

— Преступно мягкий,— уточняю я.

Старик вздыхает:

— И не говорите... Вот однажды, это было еще в Одессе, приходит ко мне Бенцион Крик...

— Матвей Иосифович,— укоряю я.— Про Бенью Крика расскажите своим соседям. Мне поведайте об этом документе...

Вынув из сумочки паспорт Данилова с фотографией Репикова, кладу на одеяло.

Шпак осторожно приоткрывает его, тут же захлопывает.

— Что такое, Матвей Иосифович?

Он поджимает губы.

— Это мурло вызывает у меня аллергию...

Даже на зоне я с такими не дружил. У них напроочь отсутствует чувство меры.

— Не подскажите ли фамилию этого аллергента?

— Там,— Шпак делает многозначительную паузу,— я встречался с ним дважды. В сорок девятом знал его как Козина. В пятьдесят пятом вдруг узнаю, что он Столяров. Теперь,— Шпак боязливо касается ногтем корочки паспорта,— как видите, его фамилия Данилов... Или уже нет?

— Уже нет. Настоящая фамилия вашего старого знакомого — Репиков... Так, вы узнали свою работу?

— Я понимаю, у вас есть профессиональные тайны, но сделайте одолжение старому человеку... Где сейчас этот тип? — робко интересуется Матвей Иосифович.

Понимаю причину его беспокойства.

— Репиков арестован.

Шпак приободряется.

— Надеюсь, когда он выйдет, меня уже не будет в этом мире... Итак, несколько лет назад, в августе, заявляется ко мне этот тип. Сует эту ксиву и свое мурло шесть на пять на глянцевой фотобумаге. Сделай, просит. Я, расстроившись, отвечаю, что первый раз вижу паспорт в таком исполнении, новый то есть. Говорю: болен я, руки дрожат... Но если бы вы тогда заглянули в глаза этого типа, у вас бы не возникло вопроса, почему Мотя Шпак согласился... Умереть я не против, но хочу своею смертью... Учтите, денег я у этого бандита не брал!

Последние слова Шпак произносит с пафосом.

— Учту... А после этого вы встречали Репикова?

— Боже упаси! — вскидывает руки Матвей Иосифович.

37.

Смазка в замках гаражных ворот подмерзла, и ключ проворачивается с трудом. Сделав второй оборот, чувствую, как на меня снова наваливается усталость. Голова становится пустой. Кажется, щелкни по ней, и она отзовется гулким звоном. В таком состоянии бреду к подъезду. Сумочка, висящая на плече, покачивается в такт шагам, а ее тень в тусклом свете фонарей потешно бегае взад-вперед.

— Ларочка! — заставляет меня вздрогнуть голос Маринки.

С недоумением поднимаю голову. Маринка бежит навстречу. У подъезда, даже не глядя в

мою сторону, вышагивает Толик. Несмотря на огромные унты и высокую худую фигуру, он в эту минуту напоминает Пьера Безухова, ожидающего начала дуэли.

— Что случилось? — испуганно спрашиваю я.

Толик, немного склонив голову набок, смотрит поверх очков:

— У нас ничего...

В голосе холодное спокойствие, всегда охватывающее моего любимого, когда он со свойственной ему интеллигентностью сдерживает раздражение.

— У меня тоже,— все еще ничего не понимая, обескураженно тяну я.

Толик резко вдавливая очки в переносицу затынутым в коричневую вязаную перчатку пальцем.

— Вот видишь,— оборачивается он к Маринке.— Ничего с ней не случилось! А мы тут...

Перевожу взгляд на подругу. В ее больших влажных глазах столько беспокойства, что я не выдерживаю:

— В конце концов скажите, в чем дело?!

Маринка разом выпаливает, как она несколько раз звонила мне на работу и безрезультатно, как, не отрывая палец от диска, названивала домой, как перетрусилась за меня и всполошила Толика, Люську и ее мужа Василия, как заставила Толика побеспокоить моего шефа.

— Ты представляешь, сколько я пережила за эти часы?! — заканчивает она свой монолог.

Заставляю себя досчитать до двадцати семи. Испытанный способ. Когда нужно успокоиться, считаю свои годы на этот момент жизни.

— Анатолий, ты собрался простоять здесь всю ночь? — мило улыбаясь, указываю на безразмерные унты, которые мой любимый, вероятно, позаимствовал у своего отца, два месяца назад вернувшегося «с поля» и приступившего к камеральным работам.

— Лара,— укоризненно говорит он,— ведь мы на самом деле замерзли, чаю горячего хотим.

Вот так всегда. Разве станешь ссориться, когда твою агрессивность пресекают просьбой.

— Тогда идемте скорее!

Гурьбой поднявшись по лестнице, шумно раздеваемся в прихожей.

— Маринка! Ты же заоченела! Сейчас же в ванную и под горячую воду! Полотенце и халат принесу.

Для приличия Маринка секунду сопротивляется, но идет в ванную комнату.

Чмокаю Толика в щеку. С упреком бросаю:

— Ты-то — разумный человек!.. Не мог, что ли, пресечь женские завихрения?! У шефа сердце хандрит, а вы...

— Да я говорил, что с тобой ничего страшного случиться не может.

Прищуриваюсь.

— Значит, тебя совсем не волнует, где пропадает твоя любимая?

Толик косится поверх очков.

— Волнует.

— То-то! — смеюсь я. — Чай ставь. А я буду обзванивать взбурдаженных вами граждан.

Первым набираю номер Павла Петровича.

— Отыскалась пропажа, — удовлетворенно хмыкает в трубку шеф. — А то мне уже звонил твой... — Павел Петрович замолкает, подбирая определение.

— Любимый, — подсказываю я.

— Анатолий, — находит нужное слово шеф. — Спрашивал, где ты, но, к своему стыду, я не смог ответить, чем занимается мой следователь в неурочное время...

— Исключительно служебными делами...

Выслушав, что я успела сделать за этот вечер, Павел Петрович говорит:

— Ну-ну... Считаю, все идет нормально... — потом его голос грустнеет. — Тут такая история получается... В больницу меня кладут, говорят, на недельку, но кто их знает, этих перестраховщиков, могут и дольше продержать... Так что, слушай. Материалы в отношении Жижина и Дербeko выдели в отдельное производство и передай Селиванову, я ему позвоню. Сама вплотную занимайся Репиковым. Не забудь привлечь за недонесение этого омского деда, а Шпака — за подделку паспорта.

— Что делать с Бабарькиным и Тропиным?

— Это кто такие? — пытается припомнить шеф.

— Им Дербeko по одному разу завысил наряды, а они забыли незаработанные деньги вернуть государству.

— Пусть внесут переполученные суммы в кассу стройуправления, а ты собери на них характеризующие данные...

— Нормальные у них данные, узнавала, — перебиваю я.

— Собери, подшей в дело, — сердится шеф, — и если данные будут положительные...

— Передам материалы в товарищеский суд по месту работы, — снова не сдерживаюсь я.

Павел Петрович многозначительно молчит, потом произносит:

— Лариса... Не предвосхищай решений прокурора... Значит, передашь по этим двум в товарищеский суд, а насчет Мизерова и Омелина я сам поставлю вопрос.

— Павел Петрович, — прошу я, — главного инженера не стоило бы трогать, он же ни на кого

свою вину не сваливал, наоборот... Заслуженный человек, да и на пенсию скоро...

— Я тоже заслуженный, и мне тоже скоро на пенсию. Что с того?! — отрезает шеф, но тут же его голос смягчается. — Хорошо, постараюсь учесть твои соображения...

После разговора с Павлом Петровичем долго звоню Нефедьевым, но телефон у них все время занят. Наконец прорываюсь и слышу встревоженный голос Люськи:

— Лара?! Слава богу!.. С тобой ничего не случилось?!

— Пока нет.

— А мы тут с Василием все больницы обзвонили, ты ведь на машине, а сейчас так скользко...

Выслушиваю Люськины охи и ахи, извиняюсь, что так получилось, прощаюсь и, положив трубку, обращаю внимание на осторожный стук, доносящийся из ванной комнаты. Улыбнувшись, снова кручу диск. Сообщаю Маринкиной бабушке, что ее внучка остается у меня ночевать, и только после этого, прихватив обещающие полотенце и халат, спешу к подруге, которая уже тарабанит в дверь.

Потом мы до часу ночи, забыв о волнениях дня, болтаем, прихлебывая бесподобно заваренный моим любимым чай № 36. Когда Толик начинает клевать носом, расстилаю ему на диване в большой комнате. Посидев с Маринкой еще немного, тоже идем спать.

38.

У следователя обычно не хватает времени сходить в суд и послушать, как рассматривается уголовное дело, которое он расследовал. Я — не исключение. Но сегодня изменяю своему правилу. Меня волнует, как воспринял суд собранные мною доказательства. Я считаю их убедительными и ни минуты не колебалась, когда подписывала обвинительное заключение. А как суд?

Конец апреля, а солнце слепит совсем полетнему, и белые ступени, ведущие в сумеречный холл областного суда, кажутся сделанными из светлого мрамора.

За полупрозрачной зеленой занавеской, прикрывающей стекла двухстворчатой двери зала судебных заседаний, угадывается силуэт конвойного. Осторожно, стараясь не скрипнуть и не помешать, приоткрываю ее, предъявляю предусмотрительно извлеченное из сумочки удостоверение. Сержант кивает. Не глядя по сторонам, на цыпочках пробираюсь в задние ряды.

Председательствующий, крупный мужчина с большой головой и резкими, словно вырубленными в спешке, чертами лица, опустив глаза, рас-

сматривает какие-то бумаги, лежащие перед ним на длинном, светлого дерева, полированном столе. Пожилая женщина в темно-синем платье, чуть подавшись к нему, шепчет что-то на ухо. Второй народный заседатель, парень лет двадцати шести в железнодорожной форме, задумчиво смотрит в сторону барьера, за которым сидит подсудимый Репиков, преданно уставившийся на председательствующего.

Поодаль, уже не в окружении конвоиров, на скамье расположились двое других подсудимых. И хотя видны только их узкие, по-стариковски скрюченные спины и затылки, сразу узнаю омского деда Кондрата и местного «гравера высшей квалификации» Матвея Шпака.

В зале человек сорок, но слышно только сдерживаемое дыхание.

Наконец председательствующий поднимает голову:

— У участников процесса есть еще вопросы в дополнениях?

Представитель государственного обвинения, мало знакомая мне женщина из областной прокуратуры, привстает:

— Вопросов нет.

Адвокаты, приподнимаясь один за другим, отвечают то же самое.

Председательствующий удовлетворенно опускает ладонь на стол, отыскивает глазами сидящего во втором ряду мужчину.

— Свидетель Самаркин.

— Да,— подскакивает «пирожок» из проектного института.

— У суда к вам просьба,— неторопливо произносит председательствующий.— Напомните, что делал подсудимый Репиков, когда вы хотели выйти из квартиры на лестничную площадку.

Самаркин с готовностью кивает.

— Я уже говорил, в этом доме мне трехкомнатную выделили. Вот и зашел посмотреть. Осмотрел, понравилось. Только собрался выходить, слышу громкий разговор...

Председательствующий вздыхает:

— Об этом вы уже рассказывали... Ответьте на вопрос конкретно.

— Подсудимый держал Хохлова за грудки. Я — сразу обратно и через лоджию вышел в другой подъезд... Я же не подумал, что такое случится, да и Хохлова не знал, в институте не встречались.

— Вы слышали крик?

— Слышал, но мало ли что... Да и на работу мне было пора. Вот я сразу и ушел.

— И у вас не возникло никаких подозрений?

— Честно говоря, возникли, но ведь на следующий день стало официально известно, что

произошел несчастный случай,— разводит руками Самаркин.

Председательствующий, откинувшись на высокую спинку кресла, долго, не мигая, смотрит на не знающего куда девать глаза Самаркина, потом медленно произносит:

— Садитесь... свидетель...

Он так выговаривает слово «свидетель», что тот, мгновенно упав на сиденье, старается стать невидимым...

Слушая речь государственного обвинителя, председательствующий время от времени делает пометки на лежащем перед ним листе бумаги.

Пожилая женщина, сухим голосом изложив фактуру обвинения и перечислив судимости Репикова за бандитизм на железнодорожном транспорте, хищения государственного и общественного имущества, за неоднократные побегии из мест лишения свободы, переходит к анализу добытых судом доказательств. Голос становится тверже, и Репиков постепенно втягивает голову в плечи.

— Жизнь каждого преступника — это траектория его падения,— задумчиво произносит государственный обвинитель.— И вот, когда Репиков понимает, что Хохлов не успокоится и в конце концов обратится в милицию, он решает на убийство...

Председательствующий с тем же вниманием выслушивает речи защитников и предоставляет последнее слово Лобачу.

Дед Кондрат резво поднимается и, вытянув руки по швам, бойко произносит:

— Находясь под следствием, я осознал свою вину и добровольно прошел курс лечения от алкоголизма! — На большее у него не хватает ни запала, ни складных слов. Всклинув, гундосит: — Не пью я теперь... старый я... пощадите... помру в тюрьме.

Матвей Иосифович, когда подходит его черед, говорит, вкладывая в последнее слово всю душу:

— Судимость у меня давно погашена... Мне восемьдесят три... Да, я подделал паспорт, но сделал это невольно, под давлением подсудимого, который, как вы убедились, способен на все... Конечно, на первый взгляд, нет большой разницы, где помирать. Но в словах гражданина Лобача кроется истина, понятная каждому престарелому человеку... Я тоже хотел бы, чтоб мои останки покоились на нашем городском кладбище, за аэропортом...

Председательствующий переводит взгляд на Репикова.

— Вам предоставляется последнее слово.

Тот поднимается и, неловко переминаясь с ноги на ногу, разводит руками, становясь похо-

жим на тихого плотника Дементьича. Не хватает только завязанной под подбородком шапки и косо сидящей желтой строительной каски. У него такая невинная физиономия, что хочется крикнуть: «Не верьте ему! Это страшный человек!»

— Уж и не знаю, что сказать, — смущенно улыбается Репиков. — Раньше сидел, скрывать не буду... С тушенкой всю правду гражданка прокурор сказала, виноват... Но Данилова я не трогал, просто паспорт взял у пьяного...

— Я, что ль, его по башке тюкнул и деньги забрал?! — по-петушиному выкрикивает дед Кондрат.

— Подсудимый Лобач, — укоризненно обрывает его судья, потом кивает Репикову: — Продолжайте...

Тот пожимает плечами, словно извиняясь за невыдержанность деда Кондрата.

— Да больше и говорить-то нечего... С Хохловым я, можно сказать, в дружбе был... Зачем мне его сталкивать? Не сталкивал я его... Сам он упал... Уж разберитесь по справедливости...

— Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора, — поднимаясь, сообщает председательствующий.

Приговор он читает ровным будничным голосом, почти не отрывая глаз от текста. Народные заседатели, опустив головы и опираясь кончиками пальцев в столешницу, стоят рядом.

У меня тоже устали ноги.

Репиков, вцепившись побелевшими в суставах пальцами в барьер, не спускает с заседателей взгляда, в котором еще теплится надежда.

«...Лобача... условно... Шпака... условно».

Когда звучат слова: «...Репикова... к исключительной мере наказания...», его лоб мгновенно покрывается потом. Лицо становится похожим на гипсовую маску.

В тишине зала отчетливо слышится щелчок наручников.



Строки из писем ~

Однажды мне повезло. Я записался в городскую библиотеку. Полгода я ее посещал аккуратно, сдавал вовремя книги. Библиотекари меня заметили. Однажды я набрался смелости и попросил фантастику. Мне сначала дали А. Грина, потом Г. Уэллса, а потом открыли шкаф. Я думал, что это надолго, но после трех книг мне сказали: «Одну фантастику читать вредно». И шкаф закрыли. С тех пор я туда не хожу. Я не понимаю... Почему очень многие взрослые убеждены, что фантастику детям читать вредно?

Игорь Маркин, 14 лет,
г. Чехов Московской обл.

Куда подевался раздел «Вести из КЛФ»? Публикации резко прекратились, не иначе как по причине одновременного вымирания клубов? То ли пик повсеместного увлечения фантастикой уже позади, и мы переживаем сейчас всеобщий спад и охлаждение, то ли неясные слухи о таинственной директиве, обязывающей брать клубы под колпак, имеют под собой реальные факты? Никакой информации — нигде ничего... Нужна статья, объективно оценивающая небольшую пока еще историю существования и деятельности КЛФ.

А. Кашников, 26 лет, токарь,
г. Свердловск.

По-видимому, все же вы рассчитываете больше на детей, хотя сказки В. Крапивина очень хорошие и, когда их читаешь, становится на душе хорошо. Но не надо забывать и о других, дети ведь быстро растут, и через 5—6 лет у них уже будет меньше наивности, да и в жизни встретят что-нибудь такое, что страшлища из сказок покажутся смешными. Я сам отслужил в Афганистане и многое увидел, воспринял по-другому. Думаю, что многие читатели фантастики вскоре уже разочаруются в ней, особенно читая те произведения, которые сейчас печатают. Чтобы в книге была какая-то правда, ее надо пережить, а это не заметно.

В. С. 22 года, г. Куйбышев.

Фантастику публикуют сейчас многие издания, но, к великому сожалению, не многие ее любят и понимают. Поэтому зачастую публикуются такие «произведения», которые лишь дискредитируют этот жанр... Ваш журнал детский и поэтому ответственность за качество публикаций фантастики значительно выше, нежели у других, ведь вы формируете правильное понимание жанра, вкус читателя и пр. Очень хотелось бы и в дальнейшем видеть на страницах вашего журнала хорошие, умные и добрые произведения, реальные и динамичные, с живыми и близкими всем героями.

В. Чифранов, 37 лет, военрук средней школы,
г. Белебей Башкирской АССР.

В журнале нам нравятся все рубрики публикаций, кроме фантастики, за пять лет журнал не опубликовал ничего запоминающегося в этом разделе. И если бы мы были редактором, рубрику «Мой друг — фантастика» заменили бы на рубрику «Приключения и путешествия» или «Странствия и приключения».

Семья Цигякало: отец (38 лет, огнеупорщик), мать (37 лет, инженер), дочь (14 лет), сын (10 лет),
г. Фролово Волгоградской обл.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ГОДА

Валерий МИРОНОВ
Рисунок Ольги Горячевой



ФЕВРАЛЬ

В древнеегипетском календаре, созданном примерно в IV тысячелетии до нашей эры, второй месяц года назывался «фаофи». В первом лунном календаре февралю примерно соответствует месяц «шабатх».

Календарь древних римлян делился на десять месяцев и состоял из 304 дней. Января и февраля в нем не было. Они были введены позже. Первоначально в феврале было 28 дней. Это был единственный месяц года с четным числом суток, так как, по верованиям древних, только нечетное число приносит счастье. В 46 году до нашей эры при римском императоре Юлии Цезаре был введен четырехгодовой цикл исчисления времени с високосным годом. В нем февраль получает дополнительный день.

По одной из версий, свое имя февраль ведет от латинского слова «очищать». С приближением весны вся природа как бы очищается и принимает новый облик. Поэтому у древних римлян февраль посвящался покаянию в грехах. Название это тесно связано с луперкалиями — празднествами, проводившимися в Древнем Риме ежегодно 15 февраля в честь Луперка (одно из имен мифического бога Фавна, покровителя стад).

По другой легенде имя февраля происходит от названия поминальной недели, которая приходилась на этот месяц. По ее истечении древние римляне совершали очистительный обряд для «примирения богов с народом».

Согласно еще одной легенде, последний месяц зимы назван в честь мифического бога подземного царства Фебруаруса (Фебрууса).

«Фебруаром» называют этот месяц венгры, немцы, датчане, евреи, норвежцы, а созвучно этому многие народы мира: «февруарис» — латыши, «феебруар» — эстонцы, «февруари» — молдаване и румыны, «февруари» — болгары, «февруари» — англичане, голландцы, индонезийцы, шведы, на суахили, «фибраер» — арабы, «февроуариос» — греки, «фарвари» — индийцы (на урду), «феврера» — испанцы, «феврайо» — итальянцы, «феверейро» — португальцы, «феврие» — французы, «февруаро» — на эсперанто.

Однако в союзных республиках СССР и в некоторых странах февраль называют по-своему: в Грузии — «тэбэркали», в Литве — «васарис», в Сербии-Хорватии — «вельача», в Чехии — «унор», в Китае — «вторая луна», в Турции — «субат», в Финляндии — «хельмикуу», в Японии — «нигацу». В современном мусульманском календаре второй месяц года носит имя «сафар» (желтый).

В Японии наряду с порядковыми номерами каждый месяц имеет специальное смысловое название. Второй месяц называется «кисараги» (месяц смены одежды).

В период династии Цинь в Китае начал применяться сезонный сельскохозяйственный календарь, в котором год был разделен на 24 сезона, в зависимости от положения солнца. По этому календарю начало весны — «личунь» — соответствует 4—5 февраля, а начало следующего сезона — «юйшуй» (дождевая вода) — соответствует 19—20 февраля.

В 1793 году во Франции во время Великой французской революции

большая часть февраля именовалась «плювиозом» (дождливым), а последняя его декада приходилась на «вентоз» (ветренный месяц). Такие же названия были установлены там и в дни Парижской коммуны в 1871 году.

В Древней Руси февраль долгое время был последним месяцем в году, поэтому его называли «межнем» (календарной межой между годами, между зимой и весной).

Величали февраль на Руси также «лютым», «сечнем», «ветродуем», «вьюговеем», «бокогреем»...

В нашей стране после победы Великой Октябрьской социалистической революции был введен григорианский календарь. Он начал действовать в 1918 году с первого дня февраля, оказавшегося сразу 14-м числом по новому стилю.

Созвездия зодиака служат в астрономии своеобразным «небесным календарем», согласно которому до 16 февраля Солнце будет находиться в созвездии Козерога, а потом — в созвездии Водолея.

По так называемым календарям «счастливых» камней и цветов февралю посвящаются аметист и фиалка. В старинном русском лечебнике сказано, что аметист «пьянство отгоняет, мысли лихие удаляет, добрым разум делает и во всех делах помогает».

Самый знаменитый обряд на стыке зимы и весны — масленица. Она отмечалась у всех славянских народов. Масленица была расплана по дням: понедельник — встреча, вторник — заигрыш, среда — лакомка, четверг — разгул, пятница — тещины вечерки, суббота — золовкины посиделки, воскресенье — проводы, прощенный день.

Происхождение масленицы затерялось в глубокой древности. Праздник связан с культом нарождающегося светила. Отсюда и традиционные блины. Круглые, горячие, золотистые — они являют собой как бы миниатюрные изображения солнца. К тому же настоящие русские блины имеют красный цвет.

Со временем масленица превратилась в массовые народные гуляния, посвященные проводам зимы, с традиционными карнавалами ряженых и ездой на тройках с бубенцами, сжиганием чучела зимы и катанием на санках с гор, взятием снежных крепостей и другими затеями.

В Японии ежегодно проводится традиционный фестиваль снега. В городских парках выставляются сотни снежных конструкций и статуй — от ледяных пальм до громоздких, многоэтажных кафедральных соборов со многими деталями архитектуры.

ПРИМЕТЫ, ПОВОРОККИ, ПРИСЛОВЬЯ

Февраль — пора сплящего снега.

Февраль и теплом приластит, и морозом отдубасит.

Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет.

Февраль строит мосты, а март их ломает.

Февраль щедр на снег.

Февральская ростепель ничего не стоит.

У февраля два друга — метель и вьюга.

Кокорешко-февраль: он теплом обычно врал.

Сильные морозы в феврале бывают только ночью.

Чем сильней морозы, тем менее возможны снегопады и вьюги.

Утренняя зорька быстро гаснет — на холод.

Если утренняя заря отличается особенно красным цветом, это может служить предвестником осадков.

Солнце всходит красное — на метель.

Столбы возле солнца — на мороз.

Хорошая погода сохранится, если наблюдается правильный суточный ход температуры воздуха; минимум утром, перед восходом солнца, максимум — в 13—14 часов.

Если ночью тихо, а утром поднимается ветер, усиливающийся до полудня и вновь стихающий к вечеру, то это верный признак продолжительной ясной и сухой погоды.

Заря горит, красны, как золото, облака, когда солнышко садится, — к ветру.

Яркие звезды — к морозу, тусклые — к оттепели.

Если вокруг луны образовался тусклый круг — завтра будет сильный мороз.

При новой луне и при ее исходе всегда сменяется погода: сырая — сухой, теплая — морозной, пасмурная — ясной.

Ветер к вечеру усиливается — погода ухудшается.

В ненастье выпадает снег без ветра — ненастье сохранится.

Дует ветер, а инея нет — быть бурану.

Снежный буран предвещает мороз на ночь.

Ненастная погода окончится, если ветер усиливается и меняет свое направление на северное или северо-западное.

Если по небу несутся отдельные небольшие кучевые облака в том же направлении, в каком дует ветер внизу, то это означает улучшение погоды.

Ветер задует, так чего надует: зимой — снега, летом — дождя.

Если безоблачно при сильном морозе — сохранится ясная погода.

Белые облака — к морозу.

Глубоко промерзает земля, а из проруби на реке вода польется, лед на переборах (перекатах) реки встанет горами, грудами, застынет шероховато, длинные и толстые сосульки с крыш — будет плодородным лето.

Все рыбки в аквариуме плавают под самой поверхностью воды — жди ненастья.

Снег прилипает к деревьям — тепло будет.

Вверх поднимаются по стеклу побеги «снежных растений» — морозу продолжаться, наклонились — к оттепели.

Куры рано на насест садятся — на мороз, и чем выше — тем больше мороз будет.

В оттепель рябчик собирает — ночевать на еловой ветке — к морозу.

Воробьи прячутся в солому — мороз крепчает.

Ворона каркает утром на верхушке дерева — к вьюге.

Комнатные птицы молчат — холод еще долго простоят.

Копыта у лошадей потеют — к теплу.

Свиньи визжат — к ненастью.

Собака ложится на снег — скоро потеплеет, валяется по снегу — завтра будет вьюга.

Если кошка встает на задние лапы и начинает скрести когтями стены — будет вьюга.

1 февраля — судили-рядили о весне.

Начало февраля погожее — и весну жди раннюю, ясную, пригожую.

Если погода ясная — быть ранней весне.

Коли капель — в весну раннюю верь.

Какова погода первого числа, таков и весь февраль.

2 февраля. В полдень солнце — к ранней весне, а если пасмурно или метель в середине дня разыграется — долго будет погода метельная.

Завизжит метелица — всю неделю прометелится.

Если небо беловатое, хоть тумана и нет, а вечернее и предзакатное солнце красное или багряное — жди неустойчивой погоды без сильных морозов, но со снегопадами.

Второй день февраля весну показывает: солнечно — к красной весне, пасмурно — жди поздних метелей.

3 февраля. Коли погода ясная — к ранней весне.

Если ясен лунный лик — урожай не велик.



Ясная заря — к морозу.

Если месяц заскользил, в тучу белый рог возил — будет доброе жито да мука в сито.

Зимой солнце сквозь слезы улыбается.

4 февраля. Если метель — вся неделя метельная, солнце — на раннюю весну.

Вьюги да метели под февраль налетели.

Много снега — много хлеба, много воды — много травы.

Чем больше выпадает снега, тем выше урожай зерновых.

Если в ульях сильный гуд, это значит — пчелы мрут.

6 февраля — полузимка, весноуказатель.

Облака плывут высоко в воздухе — будет ведро.

Если ведро — весна красная.

Теплая зима — не зима, а лето в зимнем платье.

8 февраля — перелом зимы.

Озимое зерно пролежало в земле половину срока до всходов.

Полухлебница красна — такова и весна.

Каков день, такова и весна.

10 февраля — прибаутник, запечник, сверчковый заступник.

Ветроудый принес ветер — к сырому и холодному году.

Ветер спутает погоду — быть сырому году.

Северный ветер к ночи стихает.

12 февраля. Ветер понесся — к сырому году.

Снежные хлопья стали крупными — будет оттепель.

Снег земле-кормилице, что теплый кожух.

Красноватая луна — на большой ветер.

14 февраля. Небо ночью звездисто — к поздней весне.

Если к концу дня небо покрывается туманным слоем прозрачного белого облака — будет хорошая погода.

15 февраля. Зима с весной и летом повстречались — Сретенье.

Зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама лиходейка от своего хотенья только потеет.

Зимние слезы — не бисер, а занозы.

Когда холода завернут — весна холодная, поздняя.

Если проглянет солнышко, то первая встреча зимы с весной состоялась, а не проглянет — ожидай морозов.

У дня больше света, у ночи меньше стужи.

Какова погода на Сретенье, такова и весна будет.

Утром снег — урожай ранних хлебов, снег в полдень — средних, а

коли снег к вечеру — то будет урожай поздних хлебов.

Снег через дорогу несет — к неурожаю, весна поздняя и холодная будет, а если снег по дороге несет — значит, и в квашне поведет: хлеб уродится.

Коль на Сретенье снежок, то на всю весну дожджик.

Если тепло — весна ранняя и теплая.

Если в этот день оттепель, значит, весна будет теплой.

Тепло льды пятнает, старик шубу снимает.

К вечеру не проглянет солнышко — ожидай строгих морозов 24 февраля.

Если небо безозвездно, то зима заплачет поздно.

В середине февраля семь крутых утренников.

16 февраля — починки, по сохе поминки.

В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да борону столетнюю.

17 февраля — волчий сват, маковый закат.

Редкий год на Руси в этот день не было морозов.

Студеный день — шубу снова надевай.

Время звериных свадеб.

18 февраля — коровятницы, скотницы, голендуха (голодуха).

Влезла на повесть коровья смерть.

19 февраля — телятницы. Телятся жуколы (коровы) — появляются приплод.

На Урале и в других краях отелившуюся корову, оягнившуюся овцу в хлебах окуривали чабрецом (богородской травой), чтоб молоко не было поганим, а молодняк рос здоровым.

Когда земля не промерзла, то летом соку не даст.

Морозы обещают бурную весну, сухое и жаркое лето.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

22 февраля — зима убегает темными ночами.

23 февраля — поворот к теплу. Сильный мороз бывает чаще всего ночью.

Хоть февраль злится, но весну чуёт.

24 февраля — морозный день, коровий праздник.

Прольет мороз маслица на дороги — зиме пора убирать ноги.

Мороз запел — санный след оледенел.

Крутой утренник. А всего в конце февраля их семь, из них три до 24 февраля.

28 февраля — овчарницы, зима становится безрогой.

Большая прибавка воды предвещает хороший сенокос.

29 февраля — день корыстника, скупого завистника, на что он ни взглянет — все вянет.

Худ приплод в високосный год. Длинные сосульки в конце февраля — к долгой весне.

Февраль — месяц ветров. Февраль силен метелью, а март капелью.

Февраль холодный и сухой — август жаркий.

Февраль зиму выдувает, а март — ломает.

Февраль теплый — его все месяцы проклинать будут.

Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.

Частое повторение восточных ветров в конце февраля и начале марта — предпосылки к пыльной буре.

Если первые два месяца года (или только февраль) были холодными, то и март будет холодным, с недобором осадков.

Теплый февраль приносит холодную весну.

По зиме ложится лето.

Чем крепче зима, тем скорее весна.

Снежный год хлеб принесет. Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля — к хлебородию.

Стекла в оконных рамах запотели — будет потепление.

Облака движутся против ветра — примета предстоящей непогоды.

Луна ночью будто покраснела — жди завтра ветра, тепла и снега.

Хорошая погода сохранится, если замечено приглушение звуков в дневное время, ухушенная слышимость.

Пасмурная погода сохранится, если температура в течение суток почти не меняется.

Дым из трубы стелется по земле — будет снегопад.

Много инея на деревьях — будет много меда.

Если снег гнет своей тяжестью ветки — урожай будет хорошим.

Пушистый иней — к хорошей погоде.

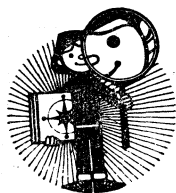
Частые куржаки на деревьях, узоры на окнах, похожие на ржаные колосья, вниз завитками, а не торчмя — к урожаю.

Ворона ходит по дороге — к теплу.

Перед приближением вьюги и пурги куры хвостами вертят, а лошади храпят.

Гусь хлопает крыльями, купается в снегу — к оттепели.

Комнатные каллы выделяют воду — скоро наступит оттепель.



МИР НА ЛАДОНИ

Серьезное с курьезным

Музейные лекала

Оружие — одна из главных достопримечательностей музея производственного объединения «Ижмаш». А недавно появился здесь экспонат, который по праву можно назвать самым дорогим.

Двадцать два лекала лежат под стеклом витрины. Хранились они не один десяток лет в одном из ижевских домов. По ним в 1918 году была изготовлена миниатюрная действующая винтовочка в подарок Владимиру Ильичу Ленину.

Прокопий Алексеев, Иван Лысков, Петр Кожевин, Максим Харьков — имена тех мастеровых, кто делали ту сувенирную винтовку.

Внук Максима Харькова Валерий Александрович Харьков и преподнес калибры в подарок родному заводу.

В 1897 году в Ижевске была сделана полумиллионная трехлинейная винтовка Мосина. В память об этом юбилее и решили изготовить несколько действующих винтовочек, величиной в четыре раза меньше обычных.

Максим Харьков калибры выточил — не одну сотню. По ним и делали винтовки. На каждой цифру ставили: «500 000». Разослали часть «ижевок» по начальству. На память. А потом в Париже показывали.

Пригодились эти лекала и в семнадцатом году, когда для Ленина делали подарок. А почти через столетие лекала стали музейной редкостью.

А. АРТАМОНОВ

Ашина или тюрк?

Раскрыть историю названий народов, сел, местностей, племен — интересная, но кропотливая работа. Ею заняты ученые различных специальностей: историки, географы, этнографы, языковеды, археологи. Но до сих пор немало топонимов и этнонимов так и не выяснены, а многие имеют несколько толкований, некоторые вызывают споры.

Тюрками называют 100 миллионов человек во всем мире. В том числе казахов, узбеков, киргизов, азербайджанцев, турков и ряд дру-

гих народов, говорящих на тюркских языках. Но откуда взялся этот термин? Что он означал в древности? Кто являлся тогда носителем его?

Как полагают специалисты, существовало племя ашина (ашна), относившееся к гуннам. После разгрома их жуань-жуанями в 460 году племя ашина перекочевало к южным отрогам Алтая и стало платить дань победителю железом из алтайских рудников. Вожди ашина, асянь-шад, туу и бумын почти за столетие подчинили близкородственные племена. Здесь, на Алтае, племя ашина приняло новое название «тюрк» («сильный», «крепкий»), а старое наименование осталось за правящим родом.

Тюркские племена Алтая, завоевав и объединив ряд племен, живших к юго-востоку, образовали тюркское государство. Во главе его стали два брата — Тумынь и Истеми. После победы в 552 году над жуань-жуанями, Тумынь принял царский титул побежденного властелина и стал называться «каганом» (ханом), а тюркское государство, возглавляемое им, каганатом.

А. ПЕЧЕРСКИЙ

В степи под Варной

Кажется, она без начала, без конца, без края — степь под горячим солнцем. На самом краю горизонта видны контуры большой юрты кочевника, а рядом с нею цветные квадратики. «Юрта» оказалась памятником седой старины — башней Кесене, а цветные квадратики — студенческим палаточным городком отряда «Реставратор»...

Башня эта стоит на челябинской земле более пяти веков, молва окружила ее легендами и сказаниями, и будто бы построили башню по приказу грозного Тимура — Тамерлана.

Влюбилась, рассказывают, красавица Кесене в русского и помогла ему бежать из плена. Много дней уходили влюбленные от погони грозного полководца.

День клонился к вечеру. Устали кони, устали беглецы. Впереди

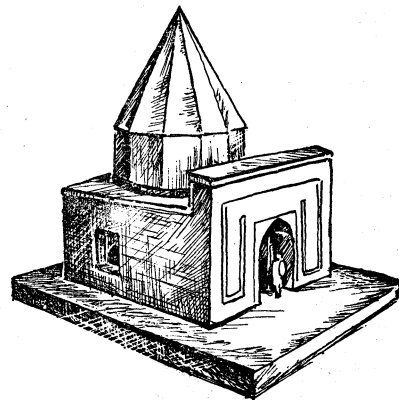
блеснуло озеро. Здесь и нагнали воины Кесене и русского. Не желая попасть в руки преследователям, юноша и девушка, взявшись за руки, вошли в воды озера и погибли.

Три дня и три ночи прощался Тамерлан с любимой дочерью, а потом приказал построить эту башню — башню Кесене...

В 1954 году экспедиция археологов обследовала и раскопала захоронение. В нише фундамента обнаружены скелет женщины лет 25—26 восточного происхождения. Архитектор из Копейска М. Семенов, изучив исторические документы, графически воссоздал первоначальный вид башни. Стиль мастеров, построивших мавзолей-мазар, можно увидеть в Самарканде — в архитектурном комплексе Гур-Эмир.

И вот решено реставрировать этот памятник старины. Начиная с 1981 года, идут восстановительные работы. Их ведут ремонтно-реставрационный участок Челябинского областного управления культуры и студенческие отряды трех высших учебных заведений Челябинска. Студенты расчистили все завалы, чтобы убедиться, что фундамент цел.

К тому времени в городе Миассе начали изготавливать кирпич клиновидной формы — 160 тысяч штук. Под руководством опытного каменщика Николая Васильевича Михайлова студенты-политехники освоили



Так будет выглядеть башня Кесене.

фигурную кладку квадратной части мавзолея.

Придет время — и в степи под Варной предстанет перед нами башня Кесене в своем первоначальном облике.

Варна, что в Челябинской области, — одно из старых поселений на землях, пожалованных уральским казакам за отвагу в Отечественной войне 1812 года. Казаки называли свои станицы по именам европейских городов, где прогремела слава русского оружия. Поэтому-то на карте области есть и Берлин, и Париж, и Чесма, и Фершампенуаз, и Бреды, и Варна...

На рисунке: так будет выглядеть башня Кесене.

Ю. БЕЛОВ

Тысячелетия... под ногами

Владимир Семенович Бобрышев, лесничий Корсаковского лесхоза, никогда не думал, что станет заниматься археологией. Вот как это произошло.

Бобрышев копался на огороде. Лопата легко и мягко входила в землю, дело шло споро. Вдруг раздался скрежет — металл наткнулся на какое-то препятствие. Отвалив пласт земли, Владимир Семенович увидел продолговатый камень — форма его отдаленно напоминала топор. Он не придавал особого значения находке. Каково же было его удивление, когда через несколько минут он откопал точно такой же камень!.. Не будучи специалистом, Бобрышев не мог, конечно, знать, что его огород расположен на месте древней стоянки былых обитателей острова Сахалин — айнов. Но он понял, что «камни», найденные им, могут представить интерес для ученых-археологов.

Так оно и случилось. Возраст каменных топоров, которые сейчас стали экспонатами Южно-Сахалинского областного краеведческого музея, составляет свыше пяти тысяч лет.

К. ЛАУВА

Вечные деревья

«Деревом вечности» издавна величали лиственницу наши предки. Лиственница растет века, еще дольше ее вторая жизнь. Уже 400—500 лет бесменно служит она в качестве внутренних деревянных деталей соборов Московского кремля и храма Василия Блаженного. Из нее изготовлена знаменитая Приморская

лестница в Одессе, паркет, двери и оконные рамы Зимнего дворца в Ленинграде. Петр I запретил рубить лиственницу на частные нужды — для Зимнего сделали исключение.

Итальянский город Венеция стоит на лиственничных сваях. Четыреста тысяч свай, забитых еще в пятом веке, и сегодня прочны, как камень.

Прочнее лиственницы дерева нет. На подшипники для осей старинных паровых колес использовали только лиственницу — металл недолго выживал в этой роли, съедаемый песчинками, взвешанными в речной воде.

Сегодня многие ответственные деревянные детали красноярского комбайна делают из лиственницы. Велотрек в Крылатском построен из лиственницы...

Есть, кроме лиственницы, дерева со слабой долговечностью на корню и в изделиях. Пускай дуб уступает в чем-то лиственнице, но и он заслуживает внимания. В наши дни самым старым дубом в Европе считается Стелмужский дуб, растущий в Литве. Ему уже две тысячи лет. Целых три девятисотлетних дуба сохранилось под Познанью в Польше. У знаменитого запорожского дуба — памятника природы XIII века в селе Верхняя Хортица близ Запорожья — Богдан Хмельницкий напутствовал казаков перед боем...

Древесина у дуба обладает высокой прочностью, твердостью, долговечностью. Используется в кораблестроении, на подводных сооружениях, так как не поддается гниению, применяется в вагоностроении, мебельном, столярном, бондарном производствах. Древесина дуба, находившегося долгое время в воде, пропитывается железом и приобретает темно-серый или черный цвет, она известна под названием мореного дуба.

Правда, можжевелник на корню не такой уж долгожитель — двести лет растет. Древесина его, хотя и не смолистая, мягкая, легкая, да не поддается гниению. Его древесину применяли для подземных сооружений как материал, устойчивый против гниения.

К разряду вечных деревьев относится и... осина. Ее не назовешь долгожителем — до ста лет дотянуть не может. Считают ее сорной лесной породой: древесина мягкая, никудышная, в редком стволе — не гнилые нутро, дрова из нее волглые, нетопкие — осина не горит без кerosина. Одним словом, только спички из нее делать — добротные получаются.

Под Ленинградом обнаружен срубленный из осины домик столет-

ней давности. Сохранился на диво. От сухих, словно окаменевших бревен со звоном отскакивает топор — видать, время им на пользу.

В старину из осинового древесины делали челны, чаще те, что перетаскивали волоком, бочки, лыжи, а позже — тормозные колодки и многое другое. Отличный строительный материал из осины: не коробится, а по устойчивости к истиранию равен дубу.

Преображенская церковь Кижского погоста крыта осиновой дранкой. По России таких церквушек разбросано немало. За три-четыре века до нас они рублены. На крышу мастера накидывали осиновые пласты — дранку. На морозах, на дождях, под солнцем пластины пропекались, затвердевали. Теперь они ни лиственнице, ни дубу не уступят — простоят тысячу лет. Вот так мягкая осинка!

Ю. АНДРЕЕВ

И загорелись камешки...

На Советском проспекте в городе Карагане стоит памятник Апплаку Байжанову. Полтора века назад этот пастушок нашел около сурочьей норы кучку невиданных им раньше черных блестящих камешков, выброшенных наружу зверьками. Мальчик разложил костер, чтобы подогреть обед. Когда пламя стало лизать камни, они загорелись, давая сильный жар...

Так был открыт Карагандинский угольный бассейн. Сейчас он ежегодно дает стране около 50 миллионов тонн топлива.

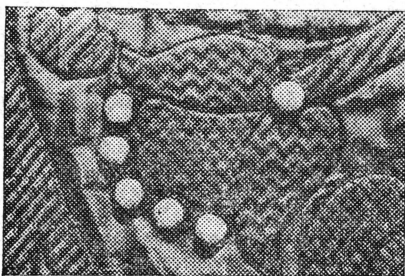
Б. СОСЕДОВ

На дистанции — кабаны

Какова скорость бега диких кабанов? Это показали старты, устроенные для зверей под Мюнхеном. Их выпускали на огражденную проволокой трассу — чтобы в лес не удрали. 120—140-килограммовые «спортсмены» преодолевали 100 метров за 11—12 секунд. Зрелище собрало более десяти тысяч любителей острых ощущений.

Крысам по вкусу

В Багио (Филиппины) полиция захватила контрабандную партию наркотиков. Пока суд да дело, пакеты с марихуаной сдали на хранение. Но вскоре их не оказалось. Как выяснилось, наркотик пришелся по вкусу... крысам.



На снимке: орнаментальное шитье XVII века.

Фото В. Савинова

Ризы, вышивки, пелены...

Среди коллекций Соликамского краеведческого музея достойное место занимает коллекция культурной одежды и тканей — ризы, покрывала, пелены...

Пелена из тонкой белой ткани, по углам и центру — орнаментальный рисунок с цветочными штамбами, разнообразными по форме листьями. Шитье двухстороннее, швы «елочка», «косой ряд», гладь пряденым золотом, серебром. По углам пелены — кайма из пряденого золота и розовых нитей. Время наложило отпечаток на пелену, она уже ветхая, изменился ее первоначальный вид.

Датируется эта пелена XVII веком.

Также к XVII веку относится вышивка размером 123 на 90 сантиметров. На синем холсте-подкладке расположен тонкий зеленого цвета шелк. По нему пряденым золотом и серебром выполнен узор — цветочные штамбы в центре в виде тюльпана, обрамленного трехлепестковым цветком и широкими листьями.

Искусство шитья — один из древнейших видов художественного творчества. В этом сложном и многотрудном деле проявили свое дарование русские женщины, искусные вышивальщицы. Их называли золотошвеями или белицами. Чьиими руками изготовлены эти прекрасные вышивки, которым уже 300 лет, нам неизвестно. Может, они были выполнены в мастерских именитых людей Строгановых или в женском Преображенском монастыре Соликамска?

Теперь уже у них потерял блеск золота и серебра, угасли краски былого шелка, но мы знаем одно — вышивки дают нам представление о характере русского средневекового орнаментального шитья.

Д. СОКОЛКОВА

Поклон «железному коню»

Молодые механизаторы опытно-производственного хозяйства «Минское» нашли остов допотопного колесника и кое-какие детали к нему. Попытались ребята собрать весь этот утиль в одно целое, но задача оказалась нелегкой: никто из механизаторов и в глаза-то не видел настоящей «ХТЗ».

Вспомнили, что кладовщица машинной мастерской Зинаида Михайловна Соловьева всю войну работала трактористкой на подобном агрегате. Обратились ребята к ней за помощью, и пожилая женщина стала их консультантом.

И вот в селе Минское Костромской области на высоком постаменте стоит первенец отечественного тракторостроения. Почетный ветеран тракторного парка страны стал памятником.

В. ПАШИН

Коньяк для поросят

— Милиция! — надрылся в телефонной трубке взволнованный женский голос. — У меня на складе коньяк испарился. Открыла дверь — обмерла. Был коньяк и — нету. Я там ни к чему не прикасалась...

Следователь Краев выехал по вызову. У склада поджидала заведующая.

— Так, говорите, коньяк у вас испарился?

— Ну да, ну да! — затараторила кладовщица. — Прямо диво какое-то! Испарился... вместе с бутылками.

— Ящики тоже улетучились?

— Нет, — осеклась заведующая. — Они в складе. А сорока бутылок как не бывало!

Здание было одноэтажное, ветхое. Под самый потолок — ящики с водкой, с вином. Два ящика с коньяком, по словам заведующей, еще в субботу стояли на самом верху. Теперь они валялись на полу пустые. Внимание следователя привлек кусок тонкой фанеры, прибитый к потолку. Когда он взобрался на стремянку и потянул его, то один конец легко отогнулся, открыв сквозную щель.

— Доска, знаете, прогнила и вывалилась, — сказала заведующая. — Вот я и попросила деда Федора, сторожа нашего, чтоб забил. Да там узко, разве что кошка пролезет.

— Кошки меня не интересуют, а вот бутылка тут свободно пройдет, — возразил ей следователь. Затем он полез на чердак. Там увидел следы детских сандалий и доньшки бутылки. Тут же валялся рыболовный крю-

чок с леской и клочок выцветшего сатина. Краев выглянул из чердачного окна. К складу примыкал сарай, к крыше его была прислонена лестница.

«Вот кое-что и прояснилось», — подумал следователь и пригласил понятых ознакомиться с обстановкой и следами на чердаке.

— А внуки у вашего деда Федора есть? — поинтересовался Краев, закончив составление протокола осмотра места происшествия.

— Сережка...

— Это который любит рыбачить?

— А вы его откуда знаете?

Дверь открыл Сережка. Увидев милиционера, он побледнел. — Дедушки нету дома...

— А нам нужен ты. — И следователь приставил к дырке на груди его выгоревшей сатиновой рубашки лоскуток. Края совпали.

— Ну, как вы вчера порыбачили?

— Мы вчера не рыбачили, — потупился мальчуган.

— Это на пруду. А на чердаке?..

— Откуда вы все узнали? Мишка, небось, выболтал?

— Нет, не Мишка... И куда улов дели?

— Бутылки сдали.

— Как это сдали? Полные бутылки не принимают.

— Вылили все из них...

— А куда?

— В ведра и вынесли в бак для пищевых отходов. А бутылки в ларек сдали...

— А на выручку что купили?

— Ничего. В тире учились стрелять.

Краев выяснил, куда отвезли пищевые отходы из того бака, и узнал: поросята после утренней кормежки вдруг принялись с громким хрюканьем носиться по клеткам, дрались и вообще вели себя необычно.

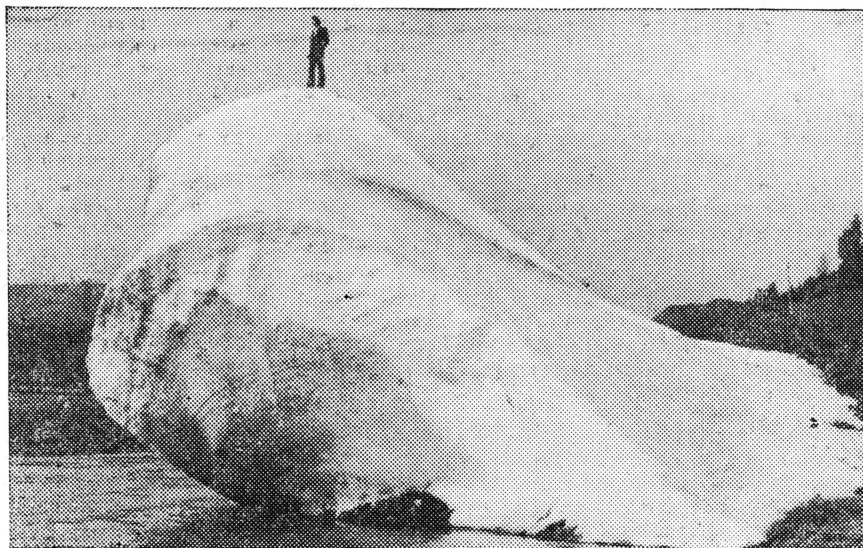
— Ну прямо как пьяные! — недоумевал бригадир.

Он не подозревал, что они отдавали выдержанного армянского коньяка.

Е. ИЩЕНКО

Приз за таракана

Техасские хвастуны (в этом американском штате все — «самое-самое») поймали, как они утверждают, крупнейшего в Америке кухонного таракана. Это случилось в столице штата — городе Далласе. Там проводился специальный конкурс на поимку тараканов-гигантов. И трем служащим-телефонистам удалось пленить таракана длиной 510 миллиметров. Они получили вполне серьезный приз — 1000 долларов.



Этот утес образовался в минувшую зиму на берегу таежной реки Нясыма, что на Северном Урале. В чем же его загадка?

На этом месте реку Нясыма пересекают шесть магистральных газопроводов, которые протянулись из Западной Сибири в европейский центр нашей страны. Раньше на крутом берегу стеной стояли могучие сосны. Для прокладки труб трассовики пробурили широкий коридор. И вот недавно проложили еще одну магистраль, очередной раз расширив для нее просеку. И роза ветров, видимо, изменилась, снежные потоки двинулись сюда, к берегу реки. От многотонной тяжести снег каменно спрессовался.

Вот как природа реагирует на вторжение человека!

На с н и м к е: снежный утес на берегу северной реки.

Текст и фото М. РАФИКОВА

К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА

Редакция настоятельно просит присылать рукописи перепечатанными на пишущей машинке четким шрифтом через два интервала.

По вопросам, связанным со случаями типографского брака, следует обращаться непосредственно в типографию, адрес которой указывается в выходных данных журнала.

Прошлое в настоящем

Если бы довелось внимательно рассмотреть традиционный национальный костюм какого-нибудь, скажем, неведомого народа — о чем можно догадаться, глядя на него? Об образе жизни, например: платье кочевника отличается от платья оседлого жителя... О роде занятий: вряд ли охотнику и рыбаку будет удобно в том, во что одевались земледельцы или скотоводы. О климате... Об эстетических представлениях народа. По отделкам и украшениям, вероятно, можно судить о развитии ремесел. Человек наблюдательный может пойти и дальше...

Современная цивилизация во многом нивелировала национальные особенности. Одежда становится все более функциональной, ориентированной скорее на интернациональную моду, нежели на традиции.

И все-таки у всех народов сохраняется приверженность своему костюму.

Башкирские модельеры решили соединить современные тенденции в развитии моды с национальными традициями. На выставке, которая проходила в зале Башкирского отделения Союза художников СССР, были представлены современные модели и старинные костюмы. Покрой, элементы отделки, украшения — все это близко национальному духу и, оказывается, прекрасно уживается с современными фасонами, тканями...

Каждый народ стремится сохранить свою самобытность — в литературе, музыке, в обычаях и традициях, ремеслах, фольклоре. Одеж-

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

начало остросюжетной повести Л. Юзефовича «Контрибуция», основанной на событиях времен гражданской войны на Урале;

очерк И. Непейна «Жизнь гражданина Очера», посвященный удивительной судьбе юного русского графа Павла Строганова, участника штурма Бастилии, члена Якобинского клуба;

путевой дневник «Дорога во тьме» М. Малахова, врача полярной экспедиции, совершившей почти 700-километровый переход по льдам Северного Ледовитого океана от станции СП-26 до станции СП-27;

беседа с клоуном Максимом «...Все это и есть цирк».

Главный редактор С. Ф. МЕШАВКИН

Редколлегия: Е. Г. АНАНЬЕВ, В. П. АСТАФЬЕВ, М. ГАЛИ, В. П. КРАПИВИН, Ю. М. КУРОЧКИН, Д. Я. ЛИВШИЦ (заместитель гл. редактора), Н. Г. НИКОНОВ, А. П. ПОЛЯКОВ (зав. отделом краеведения), О. А. ПОСКРЕБЫШЕВ, Л. Г. РУМЯНЦЕВ (зав. отделом прозы и поэзии), А. К. СЕМЕРУН, К. В. СКВОРЦОВ, В. А. СТАРИКОВ (отв. секретарь), А. Н. СТРУГАЦКИЙ

Редакция: В. И. Бугров (отдел фантастики), Л. С. Будрина (технический редактор), В. В. Бурангулова (корректор), Л. Г. Гончарова (секретарь-машинистка), А. Д. Кононова (отдел писем), Ю. В. Липатников (отдел науки и техники), Е. И. Пинаев (художественный редактор), Ю. В. Шинкаренко, Н. А. Широкова (отдел публицистики и следопытской жизни)

Адрес редакции: 620219, г. Свердловск, ГСП-353, ул. 8 Марта, 22-в
Телефоны отделов: 51-55-56 (писем, публицистики); 51-22-40 (секретариат), 51-09-71 (фантастики, прозы и поэзии), 51-53-20 (науки и техники, следопытской жизни), 51-09-69 (краеведения)

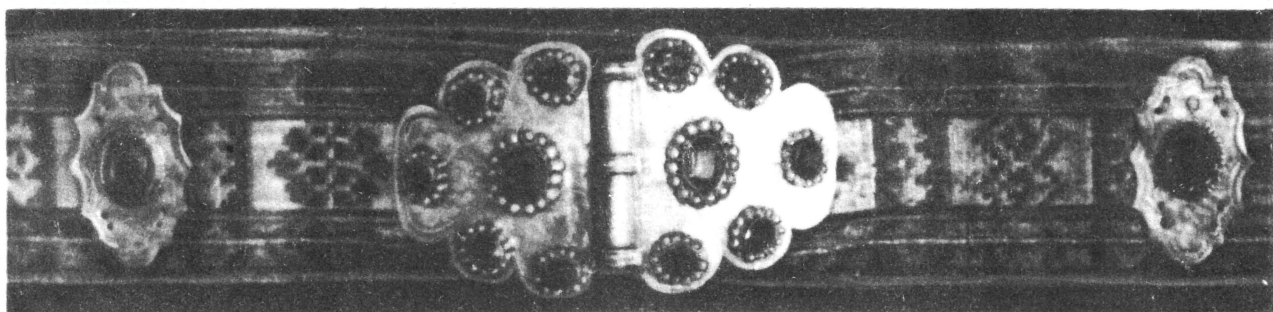
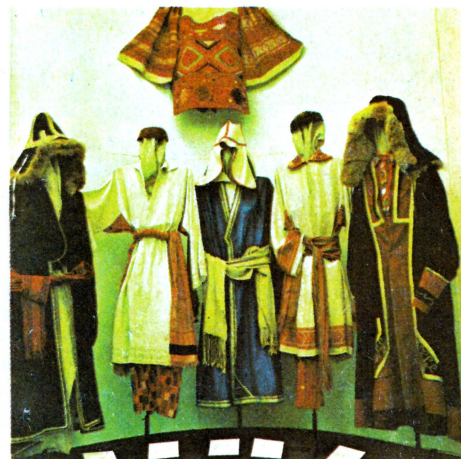
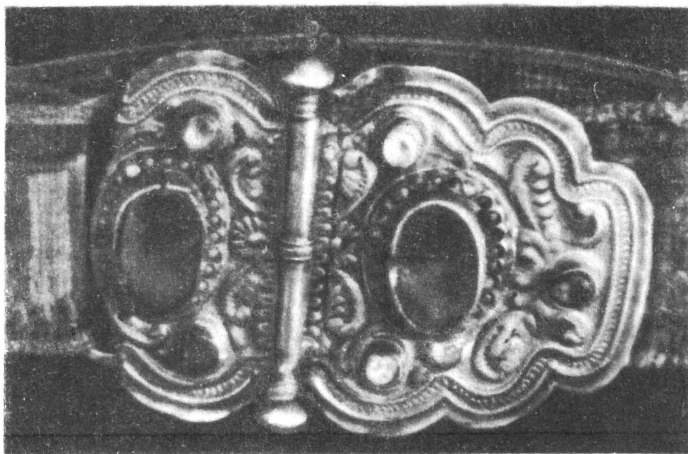
Сдано в набор 05.11.86. Подписано к печати 19.12.86. НС 11215. Формат бумаги 84×108^{1/16}. Высокая печать, Усл. печ. л. 8,82. Усл. кр.-отт. 11,76. Уч.-изд. л. 10,7. Тираж 406 000 экз. (1-й завод: 1—250 000). Заказ 465. Цена 40 коп.

Типография издательства «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

да — это тоже звено, которое может связать прошлое с настоящим, может передать традиционную эстафету поколений и сохранить то, что характерно для того или иного народа.

И. ГОРЯЧЕВ

На снимках: платья и костюмы — старые и новые. Элементы украшений.



ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Вы сможете запечатлеть навсегда красоты окружающего мира, события жизни и времени, используя усовершенствованные фотоаппараты.

Вам предлагает их Свердловская база Роспосылторга.

Аппарат «Фотоснайпер» — полуавтоматическая малоформатная зеркальная камера. Кроме обычных снимков, с ее помощью можно получать крупноплановые фотографии удаленных объектов. Цена «Фотоснайпера» — 380 руб.

АППАРАТ «ЗЕНИТ-ЕТ» — малоформатный, с зеркальным объективом «Гелиос-44-2», имеет невращающуюся головку выдержек, линзу Фреля, обеспечивающую равномерную яркость изображения в видоискателе; микропирамиды в центре поля дают высокую точность наводки изображения на резкость (100 руб.).

Подробнее об этих и других фотоаппаратах, предлагаемых покупателям, читайте в каталогах Роспосылторга, — они имеются во всех почтовых отделениях.

СВЕРДЛОВСКАЯ БАЗА РОСПОСЫЛТОРГА ПРИНИМАЕТ ТАКЖЕ ЗАКАЗЫ НА

фотообъектив «ИНДУСТАР-50 У» (4 руб.), бинокль БГФ четырехкратного увеличения (40 руб.), бинокль БТН двукратного увеличения (10 руб.).

и на малогабаритный туристический примус «ШМЕЛЬ» (быстрое приготовление пищи в полевых условиях; всего 0,5 литра горючего хватает на пять часов непрерывной работы; цена от 10 до 15 руб.).

Товары высылаются в адрес заказчиков почтовой посылкой с оплатой в момент ее получения.

Письма-заказы направляйте по адресу: 620068, г. Свердловск, ул. Учителей, 38

СВЕРДЛОВСКАЯ БАЗА РОСПОСЫЛТОРГА



ТОВАРЫ- ПОЧТОЙ!